This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

GRAD
891.78
G6O
O96

B 1,240,137

PROPERTY OF
University of Michigan Libraries
1817
ARTES SCIENTIA VERITAS

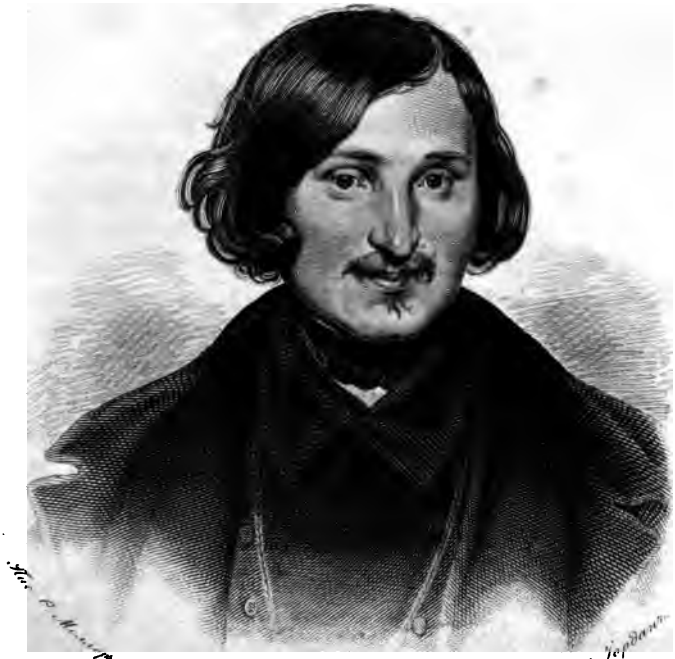
PROPERTY OF
University of Michigan Libraries
1817
ARTES SCIENTIA VERITAS

Ovsianiko-Kulikovskij, Dmitrij Nikolaevič

Проф. Д. Овсянико-Куликовскій.

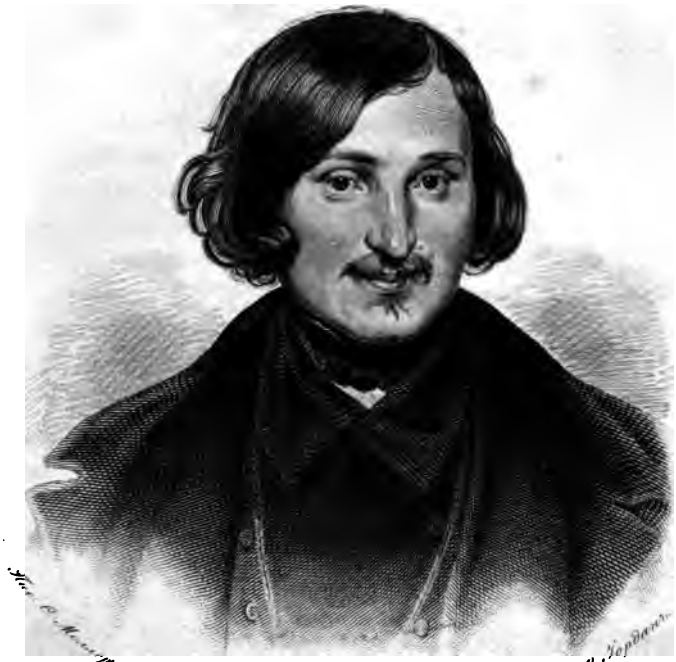
Н. В. ГОГОЛЬ.

МОСКВА.
Типо-литографія Т-ва И. Н. Кушнеревъ и К°,
Пименовская ул., соб. домъ.
1902



Николай Гоголь

105a - 213463



Николай Гоголь

Выпуская оттиски моихъ статей о Гоголѣ, печатавшихся въ «Вѣстн. Восп.», я долженъ просить у читателей снисхожденія за недочеты и промахи, изъ которыхъ укажу здѣсь на слѣдующіе: 1) на стр. 18, въ прим., я говорю, что «мнѣ не извѣстенъ пока рефератъ доктора Баженова о болѣзни Гоголя». Съ почтеннымъ трудомъ д-ра Баженова я познакомился вскорѣ послѣ того, но не воспользовался имъ для своей работы. Хотя въ мою задачу и не входилъ вопросъ о душевной болѣзни Гоголя, но все-таки слѣдовало бы принять въ соображеніе діагнозъ ученаго психіатра. 2) На стр. 19 я обѣщаю разсмотрѣть въ особой главѣ исторію и психологію внутренней борьбы Гоголя съ тѣмъ, что онъ называлъ своею «мерзостью» и «дрянью душевною». Это осталось неисполненнымъ, и лишь кое-что, сюда относящееся, читатель найдетъ въ гл. IV, трактующей вообще о такъ назыв. «душевномъ дѣлѣ» Гоголя и о его дѣятельности, какъ моралиста. 3) Равнымъ образомъ не исполнено обѣщаніе (на стр. 30—31) заняться разсмотрѣніемъ нѣкоторыхъ противорѣчій въ характерѣ Гоголя. 4) На стр. 41 по ошибкѣ (lapsus calami) «повѣсть о капит. Копейкинѣ» названа аллегоріею или «притчею», что должно быть отнесено только къ упомянутому здѣсь эпизоду о Кифѣ Мокіевичѣ.

Н. В. Гоголь.

Глава I.

„Пушкинское“ и „гоголевское“. Художественный методъ Гоголя.

I.

Въ настоящемъ опытѣ, посвященномъ Гоголю, мы будемъ неоднократно вспоминать и Пушкина: намъ кажется, что сопоставленіе этихъ двухъ художественныхъ геніевъ, столь важное въ историко-литературномъ изслѣдованіи, можетъ оказаться плодотворнымъ и въ опытѣ психологическаго изученія натуры и творчества Гоголя.

Для современниковъ, близко знавшихъ Гоголя, этотъ человѣкъ былъ загадкою. Загадкою остается онъ и для насъ. Лишь одно въ немъ совершенно ясно и не подлежитъ спору: это именно его великій художественный геній, благодаря которому имя Гоголя стоитъ въ ряду величайшихъ именъ всемірной литературы. Насколько ясна эта сторона натуры Гоголя, настолько темно все остальное. Изучая Гоголя, какъ умъ, какъ характеръ, мы повсюду наталкиваемся на противорѣчія и неясности. Порою эти противорѣчія сгущаются въ родъ какихъ-то «парадоксовъ души», которые, при ослѣпительномъ свѣтѣ художественнаго генія Гоголя, кажутся еще парадоксальнѣе, чѣмъ, быть можетъ, они были на самомъ дѣлѣ.

Сопоставленіе этой замкнутой, противорѣчивой и неуравновѣшенной натуры съ открытою, гармоничною и

уравновѣшенною натурою Пушкина, очная ставка этого огромнаго темнаго ума съ огромнымъ свѣтлымъ умомъ Пушкина могли бы, думается намъ, пролить нѣкоторый свѣтъ на проблему психологіи Гоголя и его творчества или, по крайней мѣрѣ, содѣйствовать правильной постановкѣ ея.

Въ этомъ сопоставленіи чисто-психологическій вопросъ, по нѣкоторымъ пунктамъ, близко подходитъ къ вопросу историко-литературному: сравниваемыя величины сопоставлены самой исторіей. Начинатели и основоположники нашей художественной литературы и нашего національнаго и общественнаго самосознанія (поскольку оно связывается съ художественнымъ творчествомъ), Пушкинъ и Гоголь были сотрудниками, другъ друга дополнявшими, въ одномъ и томъ же великомъ историческомъ дѣлѣ.

Въ лицѣ Пушкина мы имѣемъ генія съ извѣстными пріемами творчества, съ извѣстнымъ художественнымъ міросозерцаніемъ, съ опредѣленнымъ даромъ чувствовать и понимать жизнь и человѣка. Въ лицѣ Гоголя мы имѣемъ генія съ иными пріемами творчества, съ совсѣмъ другимъ художественнымъ міросозерцаніемъ,—и его даръ чувствовать и понимать жизнь и человѣка былъ совсѣмъ не такой, какъ у Пушкина. Эти два художественныя воззрѣнія, «пушкинское» и «гоголевское», явились отправными точками, отъ которыхъ пошли два направленія, два теченія, двѣ школы, до сихъ поръ еще не сказавшія своего послѣдняго слова и продолжающія развиваться дальше. «Пушкинское» и «гоголевское» проходятъ, съ 30-хъ годовъ и доселѣ, по всей русской литературѣ, то сближаясь, то разлучаясь, дополняя другъ друга, стремясь слиться въ какомъ то высшемъ синтезѣ, который, однако, еще далекъ, еще недостижимъ...

Изученіе ихъ развитія, различныхъ метаморфозъ и особыхъ выраженій, какія они получили въ творчествѣ нашихъ писателей отъ 30-годовъ до послѣдняго времени, составляетъ задачу историко-литературную. Ихъ изуче-

ніе со стороны психологіи творчества Пушкина, Гоголя и ихъ преемниковъ, а также и раскрытіе психологическаго состава и характера «пушкинскаго» и «гоголевскаго» въ русской художественной литературѣ образуетъ особую—психологическую—задачу.

Предлагаемая работа есть небольшой, посильный вкладъ въ разработку нѣкоторыхъ вопросовъ, относящихся къ этой задачѣ.

Прежде всего мы займемся вопросомъ *о художественномъ методѣ* Гоголя и постараемся сопоставить этотъ методъ съ тѣмъ, на которомъ основывалось творчество Пушкина. Здѣсь различіе между «пушкинскимъ» и «гоголевскимъ» выступаетъ съ особливой ясностью.

Художественныхъ методовъ столько же, сколько и художниковъ. Но это разнообразіе легко подводится подъ два типа, подъ двѣ основныя формы художественнаго познанія. Эти двѣ формы суть тѣ же, что и въ научномъ познаніи: *наблюденіе* и *опытъ* [1]). Художникъ либо *наблюдаетъ* дѣйствительность и въ своемъ произведеніи подводитъ итогъ этимъ наблюденіямъ, либо дѣлаетъ своего рода *опыты* надъ дѣйствительностью, выдѣляя извѣстныя, его интересующія, черты или стороны ея, которыя въ ней вовсе не выдѣляются, а всегда, или въ огромномъ большинствѣ случаевъ, даны въ соединеніи съ другими чертами или сторонами, ихъ заслоняющими. Сравнительно рѣдко оба метода совмѣщаются въ равной мѣрѣ въ дарованіи одного и того же художника. Въ большинствѣ случаевъ художники—либо наблюдатели по преимуществу,—либо по преимуществу экспериментаторы.

Въ чемъ сущность этихъ двухъ методовъ? Къ чему сводятся принципіальныя—психологическія—различія между ними?

---

[1]) Сжатая характеристика этихъ двухъ художественныхъ методовъ была сдѣлана мною въ статьѣ о Чеховѣ, помѣщенной въ „Журналѣ для всѣхъ“ (1899 г.).

Отвѣтъ на это могутъ дать только изслѣдованія процесса творчества у различныхъ художниковъ. Пока мы должны ограничиться установленіемъ общаго—*предварительнаго*—понятія о художникѣ-наблюдателѣ съ одной стороны и о художникѣ-экспериментаторѣ—съ другой.

Художникъ-наблюдатель, изучая людей и жизнь, стремится дать по возможности *правдивое* воспроизведеніе дѣйствительности, освѣтить картину такъ, какъ освѣщена сама дѣйствительность. Онъ не склоненъ очень сгущать краски или затушевывать извѣстныя явленія жизни; онъ не придаетъ особливаго развитія одной сторонѣ дѣйствительности въ ущербъ другой; онъ старается «соблюдать пропорціи». И на его картинѣ жизнь изображена такъ, какъ она есть, но только въ образахъ типичныхъ, обобщающихъ, при чемъ комбинація, постановка и разработка этихъ образовъ наводятъ насъ на думы и выводы, на какіе подлинная жизнь не наведетъ. По произведеніямъ этого рода можно судить о той дѣйствительности, которая въ нихъ изображена, и на нихъ зачастую удобнѣе, чѣмъ на фактахъ самой жизни, обосновывается критика этой послѣдней.

Художникъ-наблюдатель присматривается и прислушивается къ жизни, стараясь понять ее,—онъ стремится постичь *человѣка въ жизни*, взятой въ опредѣленныхъ предѣлахъ мѣста и времени, — и въ своихъ созданіяхъ онъ не столько обнаруживаетъ и передаетъ намъ *свою манеру видѣть и слышать жизнь и свой даръ чувствовать человѣка*, сколько, открывая намъ широкую картину дѣйствительности, даетъ намъ возможность, при ея помощи, развивать и совершенствовать *наше собственное пониманіе жизни*, *нашъ собственный даръ чувствовать человѣка и все человѣческое.*

Къ этому—*наблюдательному*—роду творчества принадлежатъ произведенія Пушкина («Евгеній Онѣгинъ», «Капитанская дочка» и др.), Лермонтова («Герой нашего времени»), Гончарова, Тургенева, Писемскаго, Л. Н. Тол-

стого (кромѣ его тенденціозныхъ, морализирующихъ произведеній послѣдняго времени, относящихся къ творчеству опытному).

Это и есть тотъ родъ творчества, о которомъ говорилъ Тургеневъ въ извѣстномъ письмѣ къ Дружинину 1856 г.: «...вы помните, что я, поклонникъ и малѣйшій послѣдователь Гоголя, толковалъ вамъ когда-то о необходимости возвращенія *Пушкинскаго элемента, въ противовѣсіе Гоголевскому*». Въ 1859 г. Тургеневъ прочелъ въ Петербургѣ лекцію о Пушкинѣ, въ которой онъ очертилъ сущность «пушкинскаго элемента». Насколько можно судить по сохранившемуся отрывку [1]), Тургеневъ видѣлъ эту сущность въ томъ спокойномъ и свѣтломъ поэтическомъ созерцаніи, которое составляетъ характерную черту Пушкина, какъ художника, въ противоположность рѣзкому отрицанію нашей дѣйствительности, выразившемуся въ сатирѣ Гоголя и въ нѣкоторыхъ (лирическихъ) произведеніяхъ Лермонтова. Яснѣе улавливаемъ мы точку зрѣнія Тургенева въ вышеуказанномъ письмѣ къ Дружинину, гдѣ, вслѣдъ за приведенными словами, читаемъ: «стремленіе къ безпристрастію и къ истинѣ всецѣлой есть одно изъ немногихъ бодрыхъ качествъ, за которыя я благодаренъ природѣ, давшей мнѣ ихъ». Отсюда мы въ правѣ заключить, что Тургеневъ подъ «пушкинскимъ элементомъ» понималъ такое творчество, которое стремится къ возможно-полному, всестороннему и правдивому воспроизведенію дѣйствительности. 20 лѣтъ спустя, въ письмѣ къ г. Кигну (1876 г.) Тургеневъ слѣдующимъ образомъ характеризуетъ этотъ родъ творчества, называя его «объективнымъ»: «...нужно... вникать во все окружающее, стараться не только уловить жизнь во всѣхъ ея проявленіяхъ, но и понимать ее, понимать тѣ законы, по которымъ она движется и которые не всегда выступаютъ наружу; нужно сквозь игру случайностей добиваться до типовъ—и со всѣмъ тѣмъ всегда

---

[1]) Онъ цитируется въ „Воспоминаніяхъ о Бѣлинскомъ“.

оставаться вѣрнымъ правдѣ, не довольствоваться поверхностнымъ изученіемъ, чуждаться эффектовъ и фальши».

Нѣкоторыя выраженія и наставленія въ этихъ выдержкахъ могутъ быть отнесены одинаково какъ къ творчеству наблюдательному, такъ и къ опытному. Таковъ, напр., совѣтъ «чуждаться эффектовъ и фальши», а равно и тотъ, который гласитъ, что «нужно сквозь игру случайностей добиваться до типовъ»: мы знаемъ широкіе и великолѣпные типы, построенные путемъ опытнаго творчества (напр., Хлестаковъ, Маниловъ, Ноздревъ, Собакевичъ и др.). Но зато характернымъ именно для наблюдательнаго творчества, однимъ изъ величайшихъ представителей котораго и былъ Тургеневъ, является то, что́ онъ говоритъ о стремленіи къ *безпристрастію* и *правдѣ всецѣлой* и потомъ о необходимости «понимать жизнь и тѣ законы, по которымъ она движется». Трудно представить себѣ художника-наблюдателя, которому было бы чуждо это *стремленіе* къ «безпристрастію и всецѣлой правдѣ» и который не обладалъ бы извѣстнымъ «пониманіемъ жизни» и «ея движенія», по крайней мѣрѣ, въ тѣхъ предѣлахъ времени и мѣста, какими ограничиваются его наблюденія. Напротивъ, какъ безъ того, такъ и безъ другого вполнѣ возможенъ *художникъ-экспериментаторъ*, даже великій: *таковъ и былъ Гоголь*. Правильнѣе будетъ сказать, что для художника-экспериментатора стремленіе къ безпристрастію и «всецѣлой правдѣ» означало бы, что онъ отказывается производить свои опыты. Если онъ понимаетъ жизнь эпохи и ея движеніе, то это, конечно, для него большое преимущество. Но это является въ его творчествѣ *необходимостью* только въ томъ случаѣ, когда его художественные опыты будутъ направлены на познаніе скрытыхъ, невидныхъ въ дѣйствительности пружинъ, движущихъ жизнь, на обнаруженіе едва замѣтныхъ симптомовъ новыхъ явленій, на раскрытіе истинной природы и значенія назрѣвающихъ перемѣнъ, неясныхъ или незамѣченныхъ при обыкновенномъ наблюденіи жизни.

Художественныя произведенія, основанныя на чистомъ наблюденіи, становятся «документами», по которымъ можно изучать эпоху. Произведенія искусства опытнаго для этой цѣли либо совсѣмъ непригодны, либо требуютъ тщательныхъ разъясненій, различныхъ ограниченій и оговорокъ.

Къ сказанному добавлю еще то, о чемъ я уже писалъ неоднократно [1]), а именно что художники въ своихъ наблюденіяхъ надъ дѣйствительностью, идутъ двумя путями: первый путь — *отъ себя*, второй—*не отъ себя*. Обыкновенно однимъ художникамъ свойственъ по преимуществу первый путь, другимъ — второй. Для обозначенія этихъ двухъ путей художественнаго наблюденія я беру термины *субъективный* — для перваго, *объективный* — для второго.

Когда мы приступаемъ къ изученію творчества извѣстнаго художника, то на первыхъ же порахъ встрѣчаемся съ необходимостью установить, какимъ путемъ шелъ онъ въ своихъ наблюденіяхъ и что̀ именно лежитъ въ основѣ лучшихъ его созданій: самоанализъ и наблюденіе натуръ родственныхъ его собственной, изученіе его ближайшей среды, гдѣ онъ выросъ и воспитался, или же наблюденія надъ чуждою ему жизнью, изученіе натуръ и характеровъ, для пониманія которыхъ самонаблюденіе не достаточно. Нельзя вполнѣ понять художника, не зная, изъ какого окна онъ смотритъ на Божій міръ. Когда мы опредѣляемъ путь, которымъ шелъ художникъ, тогда многое въ его произведеніяхъ открывается намъ въ иномъ, болѣе правильномъ освѣщеніи,—мы начинаемъ понимать интимную сторону его творчества и можемъ прослѣдить тайное прозябаніе и ростъ его художественныхъ идей.

Итакъ, творчество наблюдательное бываетъ либо *по преимуществу субъективное* («отъ себя»), либо *по преимуществу объективное* («не отъ себя»), либо наконецъ

---

[1]) См. „Этюды о творчествѣ И. С. Тургенева“ и „Л. Н. Толстой, какъ художникъ“.

такое, въ которомъ оба направленія совмѣщаются приблизительно въ равной мѣрѣ.

Ниже увидимъ, что различеніе этихъ двухъ путей относится также и къ творчеству опытному, къ характеристикѣ котораго и обратимся теперь.

Какъ въ наукѣ, такъ и въ искусствѣ опытъ есть разновидность наблюденія. Но, въ противоположность опыту научному, опытъ въ искусствѣ сопряженъ съ извѣстными особенностями дарованія и всей душевной организаціи художника. Говоря такъ, мы имѣемъ въ виду тѣхъ художниковъ, для которыхъ этотъ родъ творчества составляетъ призваніе, а не тѣхъ, у кого онъ является второстепеннымъ, дополнительнымъ элементомъ въ ихъ дарованіи.

Образцами опытнаго творчества, основаннаго на особенностяхъ ума, дарованія и всей душевной организаціи художника, являются у насъ «Ревизоръ», «Мертвыя души», сатира Салтыкова, произведенія Достоевскаго, Гл. Успенскаго, Чехова.

Въ произведенізхъ художниковъ-экспериментаторовъ мы имѣемъ не широкую и разностороннюю картину жизни, *а нарочитый подборъ извѣстныхъ чертъ*, въ силу котораго изучаемая художникомъ сторона жизни выступаетъ такъ ярко, такъ отчетливо, что ея смыслъ, ея роль становятся понятны всѣмъ. Въ нашей жизни вообще не мало сторонъ, ускользающихъ отъ сознанія или отъ правильной оцѣнки: мы плохо сознаемъ, напр., ту массу пошлости, глупости, умственной и нравственной темноты, какая разлита въ насъ и вокругъ насъ. Этого-то рода «стороны жизни» рѣдко выдѣляются въ художественныхъ опытахъ и выставляются, какъ говорилъ Гоголь, «на всенародныя очи» въ созданіяхъ художниковъ-экспериментаторовъ.

Художественный опытъ, какъ методъ художественнаго познанія человѣка и жизни, ближайшимъ образомъ основанъ на дѣйствіи извѣстныхъ чувствъ, которыми худож-

никъ реагируетъ на впечатлѣнія дѣйствительности, и на особомъ порядкѣ мыслей, соотвѣтствующемъ этимъ чувствамъ. Эти чувства и мысли образуютъ ту *интуицію*, съ которою художникъ приступаетъ къ опыту и которая даетъ послѣднему надлежащее направленіе.

Повидимому, иначе стоитъ дѣло у художниковъ-наблюдателей: у нихъ созерцаніе жизни и изученіе людей вызываетъ игру весьма разнообразныхъ чувствъ и мыслей, другъ друга уравновѣшивающихъ. Въ этомъ смыслѣ душа такого художника отражаетъ самую жизнь, которая есть равновѣсіе, хотя и неустойчивое, разнообразныхъ психическихъ факторовъ—чувствъ, страстей, мыслей, идей, идеаловъ. И въ творческой работѣ художника ни одно изъ этихъ предварительныхъ чувствъ, ни одна изъ этихъ интуитивныхъ мыслей не получаетъ рѣшительнаго преобладанія надъ другими и не является направляющимъ и предрѣшающимъ моментомъ художественныхъ изысканій, которыя такимъ образомъ сохраняютъ характеръ строго-индуктивной работы мышленія. Напротивъ, у художниковъ-экспериментаторовъ мы видимъ предрѣшающую дѣятельность извѣстныхъ чувствъ и мыслей, наличность и функція которыхъ обусловливаются самою натурой, всѣмъ душевнымъ складомъ художника. У одного мы явственно различаемъ тотъ порядокъ чувствъ и мыслей, который Гоголь называлъ «видимымъ смѣхомъ и незримыми, невѣдомыми слезами», у другого — ѣдкій сарказмъ и гнѣвное отрицаніе (Салтыковъ), у третьяго — глубокую скорбь о человѣкѣ и особое «унылое чувство жалости» при видѣ несовершенствъ и бѣдствій людского существованія (Чеховъ) и т. д. Это—тѣ, которыя встрѣчаются чаще другихъ и могутъ даже считаться явленіями обычными во всякой художественной литературѣ (разумѣется, въ весьма разнообразныхъ формахъ и въ соединеніи съ талантами различной глубины и силы). Но бываютъ и иныя—рѣдкія—интуиціи, представляющія собою нѣчто исключительное и трудно-опредѣлимое. Таковъ, напр., тотъ порядокъ мыслей

и чувствъ, подъ властью котораго творилъ Достоевскій и который впервые былъ раскрытъ и опредѣленъ Н. К. Михайловскимъ въ статьѣ «Жестокій талантъ». Не вполнѣ выясненъ еще характеръ интуиціи (повидимому, очень сложной и своеобразной) Гл. Успенскаго.

Все это по преимуществу мрачныя, скорбныя настроенія. Но возможно, что, при болѣе тщательномъ изученіи искусства съ точки зрѣнія, здѣсь намѣченной, найдутся художники-экспериментаторы, творившіе подъ наитіемъ болѣе свѣтлыхъ созерцаній, болѣе радужныхъ чувствъ и мыслей. Во всякомъ случаѣ они — рѣдкость, ихъ нужно искать, между тѣмъ какъ представители мрачныхъ и скорбныхъ интуицій—явленіе обычное. Это —фактъ знаменательный, наводящій на рядъ новыхъ вопросовъ, нѣкоторые изъ которыхъ мы затронемъ впослѣдствіи...

Во избѣжаніе недоразумѣній, укажу сейчасъ же на то, что многія изъ чувствъ и мыслей, служащихъ интуиціей художниковъ-экспериментаторовъ, вовсе не составляютъ ихъ монополіи и найдутся и у художниковъ-наблюдателей. Но рѣзкое различіе между тѣми и другими въ томъ, что, какъ было уже указано выше, у вторыхъ эти чувства и мысли уравновѣшиваются чувствами и мыслями иного порядка и иной окраски, а главное они являются не какъ интуиція, не въ началѣ процесса, а чаще всего въ концѣ его, какъ результатъ творчества, какъ горькій осадокъ созерцаній, какъ итогъ художественнаго познанія добра и зла человѣческаго. Во всякомъ случаѣ это у нихъ не предпосылка и не пружина творчества, какъ у художниковъ-экспериментаторовъ.

У этихъ послѣднихъ всегда наготовѣ данный порядокъ чувствъ и мыслей, являющійся свойственною данному художнику формою апперцепціи впечатлѣній жизни, и *иногда* эта форма получаетъ характеръ «большой посылки» «художественнаго силлогизма», такъ что процессъ творчества перестаетъ быть строго-индуктивнымъ и становится *въ нѣкоторой мѣрѣ дедуктивнымъ*. Образъ, созданный

художникомъ, остается, конечно, въ существѣ дѣла индуктивнымъ обобщеніемъ извѣстныхъ явленій, но онъ въ то же время сбивается и на выводъ изъ «предпосылки интуиціи», на иллюстрацію къ ней. Это замѣтно у Гл. Успенскаго въ большей степени, чѣмъ у другихъ.

Интуиція художника-экспериментатора даетъ творческому процессу опредѣленное направленіе и рѣзко выраженную «окраску», и явленія жизни, образы людей выходятъ изъ этой лабораторіи въ коренной переработкѣ, въ особомъ освѣщеніи. Тогда-то и получается столь извѣстный художественный эффектъ: образы и картины, строго говоря, *не правдивы* въ смыслѣ точнаго и разносторонняго изображенія дѣйствительности, но они посвоему говорятъ намъ о дѣйствительности, о человѣкѣ, о человѣчествѣ ту грустную или страшную правду, которую не скажетъ самое точное изображеніе ихъ.

II.

Эту страшную и грустную правду сразу схватилъ и понялъ Пушкинъ, когда Гоголь читалъ ему первые наброски «Мертвыхъ душъ».

Въ извѣстныхъ «письмахъ къ разнымъ лицамъ по поводу «Мертвыхъ душъ» Гоголь говоритъ объ этомъ такъ: «...когда я читалъ Пушкину первыя главы изъ «Мертвыхъ душъ», въ томъ видѣ, какъ онѣ были прежде, то Пушкинъ, который всегда смѣялся при моемъ чтеніи (онъ же былъ охотникъ до смѣха), началъ понемногу становиться все сумрачнѣе, сумрачнѣе, а наконецъ сдѣлался совсѣмъ мраченъ. Когда же чтеніе кончилось, онъ произнесъ голосомъ тоски: «Боже, какъ грустна наша Россія!» Меня это изумило. Пушкинъ, который такъ зналъ Россію, не замѣтилъ, что все это карикатура и моя собственная выдумка! Тутъ-то я увидѣлъ, что значитъ дѣло, взятое изъ души, и вообще душевная правда, и въ какомъ ужасающемъ для человѣка видѣ можетъ быть ему представлена

тьма и пугающее *отсутствіе свѣта* [1]). Съ этихъ поръ я уже сталъ думать только о томъ, какъ бы смягчить то тягостное впечатлѣніе, которое могли произвести «Мертвыя души» (Сочин. Гоголя подъ редакціей Н. С. Тихонравова, 1889 г., т. IV, стр. 88—89).

Это свидѣтельство весьма характерно, какъ для самого Гоголя, такъ и для того художественнаго метода, однимъ изъ величайшихъ представителей котораго онъ является.

Для самого Гоголя здѣсь характерны сбивчивость и неясность рефлектирующей мысли художника, т.-е. пониманія путей и пріемовъ собственнаго творчества. Объ этой сторонѣ ума Гоголя у насъ будетъ рѣчь въ дальнѣйшемъ. Здѣсь же постараемся извлечь изъ приведеннаго отрывка то, что относится къ сейчасъ занимающему насъ вопросу о различіи между наблюденіемъ и опытомъ въ искусствѣ, между душевнымъ складомъ художника-наблюдателя и душевнымъ складомъ художника-экспериментатора.

Отрывокъ прежде всего устанавливаетъ историческій фактъ, представляющій высокій интересъ какъ историко-литературный, такъ и психологическій.

Пушкинъ, художникъ-наблюдатель по преимуществу, сразу понялъ, прочувствовалъ и оцѣнилъ тотъ, вѣроятно, еще далеко не совершенный, но, безъ сомнѣнія, уже геніальный экспериментъ, который былъ сдѣланъ Гоголемъ въ первомъ наброскѣ «Мертвыхъ душъ». И, конечно, при всемъ несовершенствѣ это не была «карикатура и выдумка», какъ выражается Гоголь въ приведенномъ отрывкѣ. Если бы это была именно «карикатура и выдумка», Пушкинъ продолжалъ бы смѣяться. Но великому художнику-наблюдателю было не до смѣха,—онъ, съ его изумительнымъ даромъ пониманія, хорошо понялъ всю глубину захвата, всю обнаженную правду того, что читалъ ему великій художникъ-экспериментаторъ. Мрачное настроеніе Пушкина, эти, сказанныя «голосомъ тоски», слова

---

[1]) Курсивъ Гоголя.

его: «Боже, какъ грустна наша Россія!»—служатъ наилучшимъ доказательствомъ того, что опытъ былъ поставленъ правильно, что—при всѣхъ недостаткахъ первоначальнаго исполненія—онъ являлся настоящимъ откровеніемъ, новымъ словомъ въ русскомъ искусствѣ и русскомъ самосознаніи.

Опытъ былъ проведенъ смѣло и рѣзко. Непосредственно передъ вышеприведенной выдержкой о Пушкинѣ Гоголь говоритъ: «Если бы кто видѣлъ тѣ чудовища, которыя выходили изъ-подъ пера моего вначалѣ для меня самого, онъ бы, точно, содрогнулся». И самый эпизодъ о Пушкинѣ приводится какъ подтвержденіе этого. Но очевидно эти «чудовища» не были какіе-нибудь невѣроятные злодѣи,—это были все тѣ же Чичиковы, Маниловы, Ноздревы, Собакевичи, только рѣзче очерченные, болѣе безнадежно-пошлые, еще не подвергшіеся тому «смягченію», о которомъ говоритъ Гоголь ниже. Угнетающимъ образомъ дѣйствовалъ результатъ опыта,—добытая имъ правда о пошломъ человѣкѣ, картина русской жизни, полной «тьмы», «пугающее отсутствіе свѣта».

Конечно, Пушкинъ и безъ Гоголя отлично зналъ, какъ много на Руси пошлости и тьмы, но онъ не реагировалъ на это такъ, какъ реагировалъ Гоголь. Это обусловливалось всею натурой Пушкина и его художественнымъ геніемъ. Душа, открытая всѣмъ впечатлѣніямъ и всѣмъ сочувствіямъ, любознательный и воспріимчивый умъ, разносторонность натуры, живой интересъ къ дѣйствительности въ многообразныхъ ея проявленіяхъ—таковы тѣ особенности душевной организаціи, въ силу которыхъ Пушкинъ былъ въ искусствѣ художникомъ-наблюдателемъ и вмѣстѣ мыслителемъ, а въ жизни—мыслящимъ и передовымъ человѣкомъ, откликавшимся на всѣ важнѣйшіе интересы и запросы времени. Онъ бодро и сочувственно, съ заинтересованнымъ вниманіемъ, смотрѣлъ на Божій міръ и, наблюдая людей и жизнь, почти не заглядывалъ, развѣ урывками и случайно, въ свою собственную душу. Онъ не

думалъ о себѣ, какъ не думаетъ о себѣ естествоиспытатель, наблюдая природу.

Художникъ такого пошиба, несмотря на всю отзывчивость, какая ему свойственна, и на всю глубину его захвата, не можетъ, забывъ объ остальномъ, сосредоточиться исключительно на созерцаніи одной какой-либо стороны жизни; въ особенности чужды ему тѣ настроенія, которыя заставляли бы его реагировать на тьму и пошлость жизни такъ, чтобы стать нечувствительнымъ или не слишкомъ воспріимчивымъ къ другимъ впечатлѣніямъ. Мало того: не только въ самой дѣйствительности («въ натурѣ»), но даже въ геніальномъ изображеніи Грибоѣдова пошлость и тьма русской жизни не могли привести Пушкина въ то мрачное настроеніе, о какомъ говоритъ Гоголь. Къ *этой* сторонѣ жизни и человѣка Пушкинъ, геній жизнерадостный и уравновѣшенный, не былъ *болѣзненно-воспріимчивъ*. Онъ понималъ ее умомъ и отзывался на нее легкимъ юморомъ или мимолетною грустью (какъ, напр., въ «Евг. Онѣгинѣ»). И только когда великій магъ и волшебникъ экспериментальнаго творчества показалъ ему въ сгущенномъ видѣ тьму и пошлость русской жизни, онъ впервые содрогнулся передъ этимъ зловѣщимъ призракомъ и реагировалъ на него уже не юморомъ и грустью, а глубокою скорбью.

Художникъ-экспериментаторъ, которому удалось произвести такой эффектъ, по самой натурѣ своей представлялъ прямую противоположность Пушкину.

Сосредоточенный и замкнутый въ себѣ, неэкспансивный, склонный къ самоанализу и самобичеванію, предрасположенный къ меланхоліи и мизантропіи, натура неуравновѣшенная, Гоголь смотрѣлъ на Божій міръ сквозь призму своихъ настроеній, большею частью очень сложныхъ и психологически-темныхъ, и видѣлъ ярко и въ увеличенномъ масштабѣ преимущественно все темное, мелкое, пошлое, узкое въ человѣкѣ. Кое-что изъ этого порядка отрицательныхъ явленій онъ усматривалъ и въ себѣ са-

момъ,—и тѣмъ живѣе и болѣзненнѣе отзывался онъ на эти впечатлѣнія, идущія отъ другихъ, отъ окружающей среды. Онъ изучалъ ихъ одновременно и въ себѣ, и въ другихъ. Находя въ себѣ нѣкоторые недостатки или «мерзости», какъ онъ выражается, онъ ихъ приписывалъ своимъ героямъ; а съ другой стороны, чужія «мерзости», изображенныя въ герояхъ, онъ сперва, такъ сказать, примѣрялъ къ себѣ, навязывалъ себѣ, чтобы лучше вглядѣться въ нихъ и глубже постичь ихъ психологическую природу. Это были своеобразные пріемы экспериментальнаго метода въ искусствѣ. Присмотримся къ нимъ ближе и прежде всего послушаемъ, что говоритъ о нихъ самъ Гоголь.

«Во мнѣ не было какого-нибудь одного слишкомъ сильнаго порока... но зато, вмѣсто того, во мнѣ заключалось собраніе всѣхъ возможныхъ гадостей, каждой понемногу, и при томъ въ такомъ множествѣ, въ какомъ я еще не встрѣчалъ доселѣ ни въ одномъ человѣкѣ. Богъ далъ мнѣ многостороннюю природу. Онъ поселилъ мнѣ также въ душу, уже отъ рожденія моего, нѣсколько хорошихъ свойствъ; но лучшее изъ нихъ, за которое не умѣю какъ возблагодаритъ Его, было *желаніе быть лучшимъ...*»[1]). Далѣе говорится о томъ, что Богъ устроилъ такъ, что дурныя качества Гоголя открывались ему постепенно. И вотъ, «по мѣрѣ того какъ они стали открываться, чуднымъ высшимъ внушеніемъ усиливалось во мнѣ желаніе избавляться отъ нихъ; необыкновеннымъ душевнымъ событіемъ я былъ наведенъ на то, чтобы передавать ихъ моимъ героямъ... Съ этихъ поръ я сталъ надѣлять своихъ героевъ, сверхъ ихъ собственныхъ гадостей, моею собственною дрянью. Вотъ какъ это дѣлалось: взявши дурное свойство мое, я преслѣдовалъ его въ другомъ званіи и на другомъ поприщѣ, старался себѣ изобразить его въ видѣ смертельнаго врага, нанесшаго мнѣ самое чувствительное

---

[1]) Курсивъ Гоголя.

оскорбленіе, преслѣдовалъ его злобно, насмѣшкою и всѣмъ, чѣмъ попало» (тамъ же, стр. 87—88).

Ниже читаемъ: «Не думай однако же, послѣ этой исповѣди, чтобы я самъ былъ такой же уродъ, каковы мои герои. Нѣтъ, я не похожъ на нихъ. Я люблю добро, я ищу его и сгораю имъ; но я не люблю моихъ мерзостей и не держу ихъ руку, какъ мои герои... Я уже отъ многихъ своихъ гадостей избавился тѣмъ, что передалъ ихъ своимъ героямъ, ихъ осмѣялъ въ нихъ и заставилъ другихъ также надъ ними посмѣяться...» (тамъ же, стр. 91).

Это любопытное и важное свидѣтельство, какъ и многія другія въ письмахъ Гоголя, вызываетъ нѣкоторыя недоумѣнія, которыя нужно устранить, прежде чѣмъ пользоваться имъ для психологіи великаго писателя. Письмо, откуда взяты приведенныя мѣста, относится къ 1843 году, когда извѣстная «перемѣна» или «душевное разстройство» Гоголя довольно далеко подвинулось впередъ. Характеръ этого разстройства, если не ошибаюсь, не вполнѣ выясненъ [1]). Но въ немъ нельзя не замѣтить между прочимъ того, что можно назвать «нравственной ипохондріей»: Гоголь явно преувеличивалъ недостатки своего характера и, кромѣ того, усматривалъ въ себѣ такіе, которыхъ совсѣмъ не было. Но помимо разныхъ недостатковъ, дѣйствительныхъ и мнимыхъ, едва ли не въ большей степени угнетало его присутствіе, обыкновенно не замѣчаемое нами, того душевнаго сора и хлама, который годами накопляется во всякой душѣ человѣческой. Вспомнимъ знаменитое мѣсто въ VII-ой главѣ «Мертвыхъ душъ», гдѣ говорится о писателѣ, «дерзнувшемъ вызвать наружу все, что ежеминутно предъ очами, и чего не зрятъ равнодушныя очи,—*всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавшихъ нашу жизнь, всю глубину холодныхъ, раздробленныхъ, повседневныхъ характеровъ...*» Нѣтъ че-

---

[1]) Къ сожалѣнію, мнѣ не извѣстенъ пока рефератъ доктора Баженова о болѣзни Гоголя.

ловѣка, который не былъ бы опутанъ «тиною мелочей повседневной жизни», нѣтъ такого характера и ума, который не былъ бы или, по крайней мѣрѣ, не казался «раздробленнымъ» соромъ жизни, хламомъ будней, накопляющимся годами, опошливающимъ и изнашивающимъ душу человѣческую. Это опошливаніе или изнашиваніе души, это раздробленіе характера, замѣчаемое въ себѣ самомъ, причиняло Гоголю нестерпимую душевную боль. Въ его разгоряченномъ воображеніи все это принимало фантастическіе размѣры. Это и была та «мерзость» и «дрянь» душевная, на борьбу съ которою онъ выступалъ какъ художникъ и какъ моралистъ. Исторію и психологію этой борьбы мы разсмотримъ въ особой главѣ. Пока для насъ достаточно сдѣланныхъ здѣсь указаній, поясняющихъ вышеприведенную выдержку изъ «Писемъ по поводу «Мертвыхъ душъ». Процессъ художественнаго творчества, охарактеризованный въ этой выдержкѣ, представляетъ намъ картину, можно сказать, діаметрально-противоположную той, какую мы находимъ у Пушкина: выдѣленіе, въ художественномъ опытѣ, извѣстныхъ—отрицательныхъ—сторонъ жизни и души человѣческой, изученіе ихъ въ себѣ путемъ самоанализа, преувеличеніе ихъ значенія, болѣзненное реагированіе на нихъ, переходъ отъ самоанализа къ самобичеванію, жажда освободиться отъ нихъ, взглядъ на художественное творчество какъ на путь къ этому освобожденію...

Но пойдемъ дальше. Художественные опыты въ указанномъ направленіи Гоголь производилъ не только надъ собою, но и надъ другими. Это видно уже изъ того мѣста, гдѣ онъ говоритъ, что онъ надѣлялъ своихъ героевъ своею душевною «дрянью»—«*сверхъ ихъ собственныхъ гадостей*». Это поясняется нижеслѣдующимъ: «...для первой части поэмы требовались именно люди ничтожные. Эти ничтожные люди однако же ни чуть не портреты съ ничтожныхъ людей; напротивъ, въ нихъ собраны черты тѣхъ, которые считаютъ себя лучшими другихъ разумѣется,

только въ разжалованномъ видѣ изъ генераловъ въ солдаты. Тутъ, кромѣ моихъ собственныхъ, есть даже черты многихъ моихъ пріятелей, есть и твои [1]). *Мнѣ необходимо было отобрать отъ всѣхъ прекрасныхъ людей, которыхъ я зналъ, все пошлое и гадкое, что̀ они захватили нечаянно, и возвратить ихъ законнымъ владѣльцамъ...»* (курсивъ мой) (тамъ же, стр. 89).

И кто знаетъ, быть можетъ, въ Собакевича вошло нѣчто отъ Погодина, въ Манилова—наприм., отъ Плетнева и т. д.

Эта сторона въ творчествѣ Гоголя, сторона объективная, заслуживаетъ внимательнаго разсмотрѣнія. Что она имѣла психологическій смыслъ *опыта*, а не чистаго наблюденія, представляется несомнѣннымъ. Гоголь и здѣсь не просто наблюдалъ и созерцалъ, а *мучительно реагировалъ*, *болѣзненно отзывался*, преувеличивалъ, перерабатывалъ изучаемыя стороны души человѣческой.

Вопросъ этотъ тѣснѣйшимъ образомъ связывается съ другимъ—о личныхъ отношеніяхъ Гоголя къ знакомымъ и близкимъ, о странностяхъ и неровностяхъ въ его обхожденіи съ людьми, о разныхъ недоразумѣніяхъ, возникавшихъ на этой почвѣ, наконецъ, о столь извѣстномъ отсутствіи правдивости и простоты въ его поступкахъ, въ разговорѣ, въ письмахъ. Мы здѣсь не разсматриваемъ Гоголя какъ человѣка и потому не можемъ вдаваться въ подробности вопроса о его характерѣ; но такъ какъ, по нашему мнѣнію, нѣкоторыя черты характера Гоголя связаны съ его художественнымъ методомъ, раскрытію котораго посвящена эта статья, то необходимо отмѣтить здѣсь эти черты. Сюда прежде всего относится извѣстная склонность Гоголя скрытничать, симулировать, мистифи-

[1]) Не Плетневъ ли?—Н. С. Тихонравовъ предполагаетъ, впрочемъ, что всѣ 4 отрывка могли и не быть письмами, раньше написанными къ извѣстнымъ лицамъ, а „относятся къ числу тѣхъ немногихъ статей, которыя были прибавлены къ „Перепискѣ съ друзьями“ (Соч. Гог., т. IV, стр. 521).

цировать. Напомнимъ показаніе весьма авторитетнаго свидѣтеля, гласящее, что «Гоголь былъ не лгунъ, а выдумщикъ, и всегда готовъ былъ сочинить цѣлую сказку, чтобъ отдѣлаться какъ-нибудь отъ скучныхъ или непріятныхъ вопросовъ» (См. примѣчанія Тихонравова во II-мъ томѣ Сочин. Гоголя, изд. 1889 г., стр. 649). Этотъ отзывъ принадлежитъ *С. Т. Аксакову*, который такъ хорошо зналъ Гоголя какъ человѣка и раньше и лучше многихъ понялъ и оцѣнилъ его какъ художника. Въ высокой степени цѣнны для насъ также слѣдующія слова С. Т. Аксакова (въ его извѣстной «Исторіи моего знакомства съ Гоголемъ», напечатанной въ «Русск. Архивѣ» 1890 г.): «...объясняя себѣ поступки Гоголя его природною скрытностью и замкнутостью, его правилами, принятыми съиздѣтства, что иногда должно не только не говорить настоящей правды людямъ, но и выдумывать всякій вздоръ для скрытія истины, я старался успокоить другихъ моими объясненіями. Я приписывалъ скрытность и даже какую-нибудь пустую ложь, которую употреблялъ иногда Гоголь, когда его уличали въ неискренности, единственно странности его характера и его разсѣянности... Впрочемъ, я долженъ сказать, что странности Гоголя иногда были не объяснимы и остались навсегда для меня загадками... Мнѣ приходилось объяснять самому себѣ поступки Гоголя точно такъ, какъ я объяснялъ ихъ другимъ, т.-е. что мы не можемъ судить Гоголя по себѣ, даже не можемъ понимать его впечатлѣній, потому что, вѣроятно, весь организмъ его устроенъ какъ-нибудь иначе, чѣмъ у насъ; что нервы его можетъ быть во сто разъ тоньше нашихъ: слышатъ то, чего мы не слышимъ, и содрогаются отъ причинъ намъ неизвѣстныхъ» («Исторія моего знакомства съ Гоголемъ», стр. 54).

И дѣйствительно, нервная и душевная организація этого необыкновеннаго человѣка представляла собою крайне чувствительный аппаратъ, дѣятельность котораго приводила къ тому, что Гоголь въ своихъ отношеніяхъ къ лю-

дямъ поневолѣ оказывался человѣкомъ двойственнымъ и велъ, такъ сказать, двойную бухгалтерію: короткое знакомство, добрыя отношенія, уваженіе, дружба и т. д., связывавшія его со многими, осложнялись, отравлялись и портились преувеличенною, болѣзненною чувствительностью Гоголя къ «оборотной сторонѣ» хорошаго человѣка, ко всему мелкому, узкому и пошлому, что́, въ той или иной мѣрѣ, свойственно всякой душѣ человѣческой. Гоголь могъ любить, уважать и цѣнить того или другого изъ близкихъ къ нему людей, хорошо зная его добрыя качества, умъ, честность и проч.; но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ упорно и пристально, точно пригвожденный, всматривался въ оборотную сторону хорошаго человѣка, и вотъ рядомъ съ этимъ человѣкомъ выросталъ другой, его двойникъ, составленный изъ его пошлыхъ чертъ, изъ хлама и сора его души. Этотъ фантомъ становился между хорошимъ человѣкомъ и Гоголемъ и путалъ ихъ отношенія, нарушалъ ихъ простоту и искренность, но зато онъ же очень помогалъ художнику, служа ему «моделью» и «натурою»...

Оборотную сторону души человѣческой, пошлаго человѣка въ хорошемъ Гоголь видѣлъ сквозь самый толстый слой разныхъ добродѣтелей, сквозь непроницаемую броню всевозможныхъ высокихъ качествъ какъ показныхъ, такъ и дѣйствительныхъ. И потому-то такъ часто люди бывали ему противны, какъ и самъ онъ бывалъ противенъ себѣ. Съ годами, съ развитіемъ его душевнаго разстройства, эта сторона въ немъ разрасталась въ презрѣніе къ людямъ, въ мизантропію,—настроенія крайне тягостныя для натуры геніально художественной, глубоко гуманной и съ серьезными задатками моральныхъ стремленій.

Выдѣленіе «оборотной стороны» хорошаго человѣка и созданіе «двойниковъ», о которыхъ мы только что говорили, было художественнымъ экспериментомъ, на добрую долю непроизвольнымъ и безсознательнымъ: Гоголь не могъ не дѣлать этого и самъ не замѣчалъ, какъ это дѣ-

лалось. Но разъ двойникъ былъ готовъ, Гоголь нерѣдко производилъ надъ нимъ уже сознательные и преднамѣренные опыты.

Экспериментированіе надъ человѣкомъ было у Гоголя коренною, органическою чертой ума и натуры. Нарочито сказать то или другое или поступить такъ или иначе—съ цѣлью посмотрѣть, какъ это отразится, что́ отвѣтитъ или сдѣлаетъ экспериментируемый субъектъ,—это было, можно сказать, любимымъ занятіемъ Гоголя,—и самъ онъ порою склоненъ былъ смотрѣть какъ на «опытъ» даже на тѣ поступки свои, которые, по первоначальному замыслу, могли и не быть таковыми. Такъ, наприм., въ томъ же письмѣ по поводу «Мертвыхъ душъ», откуда мы взяли вышеприведенныя выдержки, онъ между прочимъ говоритъ, что ему «хотѣлось *попробовать*, что́ скажетъ вообще русскій человѣкъ, если его попотчуешь его же собственною пошлостью» (Соч. Гог. 1889, IV, стр. 89). Въ письмахъ Гоголя встрѣчаются указанія на то, что онъ нерѣдко говорилъ другимъ разныя непріятности и даже устраивалъ ссору съ цѣлью заставить ихъ высказаться. Такъ, напр., въ письмѣ къ Балабиной (отъ 7 ноября 1838 г.) онъ говоритъ: «Когда я былъ въ школѣ и былъ юношей, я былъ очень самолюбивъ...; мнѣ хотѣлось смертельно знать, что обо мнѣ говорятъ и думаютъ другіе. Мнѣ казалось, что все то, что мнѣ говорили, было не то, что обо мнѣ думали. Я нарочно старался завести ссору съ моимъ товарищемъ, и тотъ натурально въ сердцахъ высказывалъ мнѣ все то, что во мнѣ было дурного. Мнѣ этого было только и нужно...» Къ такому маневру прибѣгалъ Гоголь и впослѣдствіи. Въ письмѣ къ Шевыреву отъ 14 декабря 1844 г. онъ признается, что «иногда нарочно сердилъ» Погодина «только за тѣмъ, чтобы узнать, что онъ обо мнѣ думаетъ». Въ томъ и другомъ мѣстѣ по этому поводу высказывается мысль, что люди говорятъ правду только тогда, когда они раздражены, разсержены («только разсердившись, говорится правда»—въ письмѣ

7 ноября 1838 г.).—Къ этой мысли возвращается Гоголь, говоря о различныхъ недоумѣніяхъ, вызванныхъ его книгою «Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями». Такъ, въ письмѣ къ Шевыреву отъ 10 марта 1847 г. читаемъ: «...эта разность, дикость и заносчивость многаго въ моей книгѣ расшевелитъ и задѣнетъ за живое многихъ умныхъ людей. Что же дѣлать, если такова натура русскаго человѣка, что его не заставишь до тѣхъ поръ говорить, покуда не выведешь его изъ терпѣнія, зацѣпя за самую живую струну. Повѣрь, что безъ этой книги мнѣ бы не узнать всего того, что мнѣ необходимо знать для того, чтобы мои «Мертвыя души» вышли *то*, чѣмъ имъ слѣдуетъ быть». Такимъ образомъ изданіе «Выбранныхъ мѣстъ» представляется самимъ Гоголемъ какъ своего рода экспериментъ художника, произведенный надъ русскимъ обществомъ. Первоначальное побужденіе могло быть и, вѣроятно, было иное: Гоголь просто хотѣлъ поучать, морализировать. Но, разъ дѣло было сдѣлано, и книга произвела столь извѣстное—отрицательное—впечатлѣніе на общество, Гоголь самъ сталъ смотрѣть на это предпріятіе какъ на родъ опыта и прислушивался къ отзывамъ о книгѣ и различнымъ толкамъ о ея авторѣ—какъ экспериментаторъ, который хочетъ такимъ путемъ узнать людей да кстати провѣрить и себя самого. Въ письмахъ 1847 года мы часто встрѣчаемъ настойчивыя просьбы сообщать ему все, что говорятъ и пишутъ о книгѣ и о немъ. Въ томъ же письмѣ къ Шевыреву читаемъ: «Передавай самыя жесткія, самыя язвительныя слова. Говорю тебѣ истинно, что отъ всего этого такая польза уму, сердцу и душѣ моей, какъ ты и представить себѣ не сумѣешь... Проси и другихъ записывать въ простотѣ и безхитростно всѣ слова, какія ни услышатъ, именно, какъ ихъ услышатъ»... Нѣсколько раньше, Гоголь, по тому же поводу, писалъ С. Т. Аксакову: «На книгу мою нападутъ со всѣхъ угловъ, со всѣхъ сторонъ и во всѣхъ возможныхъ отношеніяхъ. Эти

нападенія мнѣ теперь слишкомъ нужны: они покажутъ мнѣ болѣе *меня самого* и покажутъ мнѣ въ то же время *васъ*, то-есть *моихъ читателей*. Не увидѣвши яснѣе, что такое въ настоящую минуту я самъ и что такое мои читатели, я былъ бы въ рѣшительной невозможности сдѣлать дѣльно свое дѣло» (письмо отъ 20 янв. н. ст. 1847 года).—«Одно помышленіе о томъ, съ какимъ неприличіемъ и самоувѣренностью сказано въ ней (въ книгѣ «Выбранныя мѣста») многое (читаемъ въ письмѣ къ кн. Л—ву, отъ 20 марта 1847 г.), заставляетъ меня горѣть со стыда... Стыдъ этотъ мнѣ нуженъ. Не появись моя книга, мнѣ бы не было и въ половину извѣстно мое состояніе душевное...»—Въ письмѣ къ Плетневу (отъ 17 апрѣля 1847 г.) находимъ слѣдующее, характерное для Гоголя, заявленіе: «Повѣрь, что безъ этой книги не было бы на чемъ *испробовать нынѣшняго человѣка* *). А проба эта нужна, и въ этомъ отношеніи книга моя, несмотря на всѣ ея недостатки, сокровище. Ты самъ это испытаешь, если будешь на ней *пробовать* *) человѣка. Онъ отъ тебя не скроется въ своихъ сокровенныхъ и главнѣйшихъ помышленіяхъ, и состояніе души его выступитъ передъ тобою какъ разъ...» То же самое говоритъ онъ и въ письмѣ къ Смирновой (20 апр. 1847): «Замѣтили ли вы необыкновенное свойство моей книги... служить *пробнымъ камнемъ для узнанія нынѣшняго человѣка?* *) Въ сужденіяхъ своихъ о ней обнаружится предъ вами весь человѣкъ, даже позабывши свою осторожность. *Это весьма не бездѣлица для писателя, а особливо такого, для котораго предметомъ сталъ не шутя человѣкъ и душа человѣка»* *). Приведемъ еще такое же мѣсто изъ письма къ Шевыреву (27 апр. 1847 г.): «Книга имѣетъ свойство пробнаго камня: повѣрь, что на ней испробуешь какъ разъ нынѣшняго человѣка. Въ сужденіяхъ о ней непремѣнно выскажется человѣкъ, со всѣми своими помышленіями,

---

*) Курсивъ мой.

даже тѣми, которыя онъ осторожно таитъ отъ всѣхъ, и вдругъ станетъ видно, на какой степени своего душевнаго состоянія стоитъ онъ. Вотъ почему мнѣ такъ хочется собрать всѣ толки всѣхъ о моей книгѣ».

Нельзя сомнѣваться въ искренности этихъ заявленій: слишкомъ часто повторяются они, и по всему видно, что эта мысль глубоко засѣла въ умѣ Гоголя.

Характерны и слѣдующія строчки того же письма: «Хорошо бы прилагать при всякомъ мнѣніи портретъ [1]) того лица, которому мнѣніе принадлежитъ, если лицо мнѣ незнакомо. Повѣрь, что мнѣ нужно основательно и радикально пощупать общество».

Эти выдержки рисуютъ намъ Гоголя, какъ *экспериментатора души человѣческой*. Онъ ее изслѣдовалъ (всегда ли съ успѣхомъ,—это другой вопросъ) этими экспериментальными пріемами съ двоякою цѣлью: *моральною* и *художественною*. И любопытно, что чѣмъ больше овладѣвали имъ стремленія моральныя, тѣмъ живѣе сказывались и настойчивѣе заявляли о себѣ и его чисто-художественные интересы. Этика и искусство шли у него объ руку, не мѣшая другъ другу. Подтвержденія этому мы дадимъ въ дальнѣйшемъ. Здѣсь же укажу только на тѣ мѣста его писемъ, гдѣ онъ проситъ сообщать ему всякія подробности, разныя мелочи жизни и обстановки, характеристики («портреты») лицъ и отмѣчать черты типическія. Такъ, напримѣръ, въ письмѣ къ Смирновой (отъ 27 янв. 1846 г.) онъ говоритъ: «Въ душѣ и сердцѣ человѣческомъ столько есть неуловимыхъ оттѣнковъ и излучинъ, что всякій день могутъ случиться открытія и откровенія... Опредѣлите мнѣ характеры всѣхъ находящихся въ Калугѣ; не пропускайте мелочей и подробностей. Вы знаете, что я до нихъ охотникъ и что по нимъ мнѣ удавалось узнать многое, многое въ человѣкѣ, вовсе не мелочное, котораго иногда онъ не только не откры-

---

[1]) Т.-е. характеристику.

ваетъ другимъ, но и самъ не знаетъ».—Въ другомъ письмѣ онъ проситъ Смирнову набрасывать для него очерки провинціальныхъ типовъ. «Напримѣръ, выставьте сегодня заглавіе: *Городская львица*, и, взявши одну изъ нихъ, такую, которая можетъ быть представительницею всѣхъ провинціальныхъ львицъ, опишите мнѣ ее со всѣми ухватками—и какъ садится, и какъ говоритъ, и въ какихъ платьяхъ ходитъ, и какого рода львамъ кружитъ голову,—словомъ, личный портретъ во всѣхъ подробностяхъ. Потомъ завтра выставьте заглавіе: *Непонятая женщина*, и опишите мнѣ такимъ же образомъ непонятую женщину. Потомъ: *Городская добродѣтельная женщина*; потомъ: *Честный взяточникъ;* потомъ: *Губернскій левъ*». (пис. 22 фев. 1847).—Съ такою же просьбою обращается онъ къ А. С. Данилевскому и его женѣ (письмо отъ 18 марта 1847 г.), жившимъ въ Кіевѣ. «Эти бѣглые наброски съ натуры,—говоритъ онъ,—мнѣ теперь такъ нужны, какъ живописцу, который пишетъ большую картину, нужны этюды. Онъ хоть, повидимому, и не вноситъ этихъ этюдовъ въ свою картину, но безпрестанно соображается съ ними, чтобы не напутать, не наврать и не отдалиться отъ природы».

Во всемъ этомъ ярко сказывается уже не моралистъ, а художникъ. Всѣ эти характеристики провинціальныхъ типовъ, эти наброски съ натуры, а также и разныя подробности и мелочи житейскаго обихода нужны были Гоголю именно какъ *художнику-реалисту*. Но не слѣдуетъ заключать отсюда, чтобы онъ въ этомъ случаѣ преслѣдовалъ задачу широкаго и разносторонняго бытописанія. Нѣтъ, онъ не задавался цѣлью описывать жизнь людей и изображать общество того времени такъ, чтобы вышла правдивая, исчерпывающая картина дѣйствительности. Онъ хотѣлъ только, чтобы тѣ образы, которые онъ создаетъ, были взяты изъ жизни, пріурочены къ мѣсту и времени и производили иллюзію живыхъ людей, живьемъ выхваченныхъ изъ дѣйствительности. Объ этомъ

свидѣтельствуютъ слѣдующія мѣста изъ писемъ: «Не будутъ живы мои образы, если я не сострою ихъ изъ нашего матеріала, изъ нашей земли, такъ что всякъ почувствуетъ, что это изъ его же тѣла взято» (письмо къ Смирновой отъ 22 февр. 1847 г.). «Моя поэма, можетъ быть, очень нужная и очень полезная вещь, потому что никакая проповѣдь не въ силахъ такъ подѣйствовать, какъ рядъ *живыхъ примѣровъ*, взятыхъ изъ той же земли, изъ того же тѣла, изъ котораго и мы» (письмо къ Данилевскому и его женѣ, отъ 18 марта 1847 г.).—Тутъ же находимъ характерныя слова: «...мнѣ теперь очень нуженъ русскій человѣкъ, вездѣ, гдѣ бы онъ ни находился, въ какомъ бы званіи и сословіи онъ ни былъ».

Предметомъ, на которомъ сосредоточивались художественные и иные интересы Гоголя, былъ именно *русскій человѣкъ*, *психологія русскаго человѣка*, а не русская жизнь въ ея цѣломъ, въ ея statu quo и ея движеніи. Гоголь былъ по преимуществу *художникъ-психологъ*, какъ это вообще свойственно художникамъ экспериментаторамъ. Какъ человѣкъ и какъ моралистъ, онъ былъ весь погруженъ въ тѣ вопросы, которые онъ обозначаетъ терминомъ «душевное дѣло». Оно же составляло и объектъ его художественныхъ изысканій.

Здѣсь-то и выступалъ онъ какъ экспериментаторъ.

Прочтемъ слѣдующія строки изъ письма къ Плетневу отъ 5 янв. н. с. 1847 г.: «Драгоцѣнный даръ *слышать душу* *) человѣка мнѣ уже былъ издавна дарованъ Богомъ, и въ неразвитомъ своемъ состояніи онъ уже *руководилъ меня въ разговорахъ съ людьми* *), и передо мною сами собой отдѣлялись звуки истинныхъ словъ отъ звуковъ фальшивыхъ въ одномъ и томъ же человѣкѣ. Поэтому я весьма рано сталъ примѣчать, что есть дурного въ хорошемъ человѣкѣ и что есть хорошаго въ дурномъ человѣкѣ. Ко мнѣ становился человѣкъ вовсе не тою *стороною*,

*) Курсивъ мой.

какою онъ самъ хотѣлъ стать предо мною; онъ становился противувольно той стороной своей, которую мнѣ любопытно было узнать въ немъ, такъ что онъ иногда, самъ не зная какъ, обнаруживалъ себя предо мною больше, чѣмъ онъ самъ себя зналъ».

Здѣсь-то и слѣдуетъ искать главную причину тѣхъ недоразумѣній, какія такъ часто возникали между Гоголемъ и его друзьями. Аксаковы, Погодинъ, Шевыревъ, Плетневъ и другіе относились къ нему просто, душевно и бережно (даже Погодинъ, несмотря на недостатокъ деликатности и подчасъ грубоватость, впрочемъ благодушную), цѣня въ немъ великаго писателя, надежду и гордость Россіи. Съ своей стороны и онъ хотѣлъ бы относиться къ нимъ такъ же просто и душевно, — и порою это и удавалось ему. Но онъ не въ силахъ былъ выдержать эту роль до конца: онъ невольно становился въ положеніе изслѣдователя чужой души человѣческой, какъ всегда былъ изслѣдователемъ своей, — его друзья превращались въ объекты этихъ изысканій, — и простыя отношенія по необходимости осложнялись и нортились. Нельзя безнаказанно копаться подолгу и слишкомъ усердно ни въ своей, ни въ чужой душѣ: непремѣнно опротивишь самъ себѣ и другія тебѣ опротивятъ. И я думаю, что, помимо всего прочаго, душевное разстройство Гоголя отчасти связывалось и съ этимъ вѣчнымъ самоанализомъ и экспериментированіемъ надъ другими. Характерная въ этомъ отношеніи фраза вырвалась у него въ одномъ письмѣ къ Смирновой (отъ 4 іюня 1845 г.): «*Не страдая теперь ни одной душевной болѣзнью, происходящею отъ моихъ отношеній и положеній къ людямъ...* *) я страдаю весь душою отъ страданій моего тѣла, и душа изнываетъ вся отъ страшной хандры...»—Болѣе всего, какъ говорится, «возились» съ Гоголемъ и баловали его Аксаковы, въ особенности Сергѣй Тимоѳеевичъ: въ ихъ домѣ Гоголь

*) Курсивъ мой.

былъ принятъ какъ родной, — онъ неизмѣнно встрѣчалъ здѣсь такую ласку, такое участіе, такое снисхожденіе ко всѣмъ его слабостямъ и странностямъ, что, казалось бы, здѣсь-то Гоголь и долженъ былъ бы отдыхать душою и находить убѣжище отъ обуревавшихъ его тревогъ душевныхъ. Однако же оказывается, что для Гоголя радушіе и ласка Аксаковыхъ были тягостны и оказывали на него далеко не благотворное дѣйствіе. Онъ рѣшительно не могъ долго выносить той любви и того обожанія, какія онъ встрѣчалъ въ семьѣ Аксаковыхъ. И вотъ что писалъ онъ объ этомъ Смирновой (въ письмѣ отъ 20 мая 1847 г.): «Хотя я очень уважалъ старика [1]) и добрую жену его за ихъ доброту, любилъ ихъ сына [2]) за его юношеское увлеченіе, рожденное отъ чистаго источника, несмотря на неумѣренное, излишнее выраженіе его; но я всегда однако же держалъ себя вдали отъ нихъ. Бывая у нихъ, я почти никогда не говорилъ ничего о себѣ; я старался даже вообще сколько можно меньше говорить и выказывать такія качества, которыми бы могъ привязать ихъ къ себѣ. Я видѣлъ съ самого начала, что они способны *залюбить не на животъ, а на смерть*... *) Словомъ, я бѣжалъ отъ ихъ любви...»

Здѣсь необходимо маленькое отступленіе.

Было бы большой ошибкой—основывать на данныхъ этого рода (ихъ найдется не мало) сужденіе о Гоголѣ, какъ о человѣкѣ сухомъ, холодномъ, неблагодарномъ, недобромъ. Онъ былъ человѣкъ несомнѣнно добрый, но недобродушный. Чувство благодарности было, конечно, вполнѣ доступно ему, и онъ не разъ испытывалъ его, но случалось, что онъ поступалъ такъ, какъ можетъ поступать только неблагодарный. Здѣсь мы встрѣчаемся съ неразрѣшимыми, повидимому, противорѣчіями въ характерѣ этого загадочнаго человѣка. Объ этомъ у насъ будетъ рѣчь въ

---

[1]) Сергѣя Тимоѳеевича.

[2]) Константина Сергѣевича.

*) Курсивъ мой.

дальнѣйшемъ. Въ данномъ случаѣ относительная холодность и, пожалуй, родъ невольной неблагодарности Гоголя въ отношеніи къ Аксаковымъ отчасти объясняются тѣмъ, что избытокъ восторговъ и обожанія былъ для Гоголя въ данное время (1842—1847) тягостнымъ и досаднымъ осложненіемъ и безъ того трудной внутренней работы, которая въ немъ совершалась. Посвятить Аксаковыхъ въ ходъ этой внутренней работы онъ не могъ, потому что зналъ, что они не поймутъ ея такъ, какъ хотѣлось бы ему.

Попробуемъ представить себѣ эту замкнутую натуру, переживающую тяжелый душевный кризисъ, этотъ умъ, цѣликомъ углубленный въ рѣшеніе мудренной задачи, слагавшейся изъ своеобразно и нераціонально поставленныхъ вопросовъ моральнаго и религіознаго самосознанія; вспомнимъ о болѣзненномъ, можетъ быть психопатологическомъ укладѣ натуры великаго человѣка; наконецъ, не будемъ забывать, что въ самомъ разгарѣ этого броженія души, этого разброда и конфликта душевныхъ силъ и стремленій совершалась геніальная работа художника,— и тогда мы поймемъ, какъ болѣзненно должна была содрогаться и сжиматься душа этого страдальца отъ шума восторговъ, казавшихся ему излишними, отъ похвалъ, ему ненужныхъ, отъ всякаго неосторожнаго прикосновенія, отъ всякой попытки заглянуть въ его внутренній міръ.

Вотъ что скрывается подъ вышеприведенными словами Гоголя: «...они (Аксаковы) способны залюбить не на животъ, а на смерть...»

И онъ «бѣжалъ отъ ихъ любви». «Бѣгство» отъ любви такихъ на рѣдкость хорошихъ, искреннихъ, умныхъ и даровитыхъ людей, какъ Аксаковы,—это фактъ, наглядно обрисовывающій всю глубину наболѣвшей потребности Гоголя оставаться замкнутымъ въ себѣ—такъ, чтобы ничто не нарушало тайнаго развитія его внутренней драмы, затаеннаго назрѣванія его душевныхъ мукъ...

Мы имѣемъ здѣсь возможность, употребляя его же выраженіе, «услышать его душу». Попробуемъ не только «услышать», но и понять, объяснить ее. Для этого необходимо сперва разгадать *умъ* Гоголя, опредѣлить его характеръ и особенности. Мы назвали этотъ умъ огромнымъ, но темнымъ, это требуетъ обоснованія и поясненія, чѣмъ мы и займемся въ слѣдующей главѣ, гдѣ, слѣдуя нашему плану, мы сопоставимъ умъ Гоголя съ умомъ Пушкина—огромнымъ и свѣтлымъ.

Глава II.

Гоголь какъ умъ.

I.

Въ числѣ тѣхъ противорѣчій, которыми изобиловала душевная организація Гоголя, было и слѣдующее, принадлежавшее къ сферѣ его мышленія: съ одной стороны, мы видимъ въ его жизни и дѣятельности упорную, можно сказать, неустанную (за вычетомъ тѣхъ перерывовъ, которые обусловливались обостреніемъ болѣзни) работу ума, съ другой же—ясно улавливаемъ всѣ признаки умственной лѣни. Какъ человѣкъ мыслящій, работающій головою, Гоголь былъ, если можно такъ выразиться: «трудолюбивый лѣнивецъ».

Несовмѣстимость или, лучше, непримиримость этихъ терминовъ—только логическая. Психологически же, т.-е. въ организаціи и дѣятельности ума, эти противорѣчія весьма часто совмѣщаются и даже примиряются, такъ что нерѣдко бываетъ очень трудно разобрать, гдѣ кончается трудолюбіе ума и гдѣ начинается его лѣнь. Можно даже утверждать, что это противорѣчіе вытекаетъ изъ основныхъ свойствъ ума человѣческаго, изъ тѣхъ психологическихъ особенностей, которыми сфера мысли отличается отъ другихъ сферъ психики, — отъ чувства и воли. По самой природѣ своей умъ, въ противоположность чувству, есть

вѣчный работникъ: нашъ умъ не перестаетъ дѣйствовать ни на секунду, — онъ работаетъ даже во снѣ, и только смерть прекращаетъ его неугомонную дѣятельность. Эта послѣдняя совершается, какъ извѣстно, двояко: *сознательно* и *безсознательно*. Ослабленіе или заторможеніе сознательной дѣятельности (напр., во снѣ, въ обморокѣ) не устраняетъ работы безсознательной. Умъ работаетъ съ неустанностью заведенныхъ часовъ.

Но этотъ вѣчный труженикъ сплошь и рядомъ оказывается порядочнымъ лѣнтяемъ. Умъ, по самой природѣ своей, не можетъ не работать, но ему зачастую трудно и нежелательно мѣнять направленіе и ходъ своей работы, сворачивать съ одной дороги на другую, расширять свой кругозоръ, пріобрѣтать новые интересы, обращаться къ новому матеріалу, а все это бываетъ безусловно - необходимо для успѣшности самой работы. Всякій изъ насъ по собственному опыту и по наблюденіямъ надъ другими хорошо знаетъ эту прирожденную неповоротливость ума человѣческаго, въ дѣятельности котораго такъ ясно проявляются черты шаблонности и склонность къ автоматизму. Вы привыкли, напр., отъ такого-то часа до такого-то заниматься извѣстнымъ дѣломъ, требующимъ нѣкотораго напряженія мысли. Попробуйте вдругъ нарушить этотъ порядокъ,—перенести данную работу на другіе часы или замѣнить ее другою, — и вы сейчасъ же почувствуете умственныя неудобства этой перемѣны,—ваша работа не будетъ идти такъ легко и скоро, какъ прежде, пока вашъ умъ не усвоитъ новой привычки. Нарушеніе установившагося порядка и характера работы ученаго, художника, писателя причиняетъ ему настоящія страданія.

Гораздо важнѣе другое слѣдствіе или выраженіе той же основной психологической черты, той же шаблонности нашего мышленія: я разумѣю здѣсь все то, что̀ можетъ быть подведено подъ понятіе *консервативности* ума человѣческаго. Достаточно извѣстно, какъ легко успокаивается онъ на привычныхъ формахъ мышленія, на усвоенной

системѣ воззрѣній, на традиціонныхъ понятіяхъ и какъ неохотно приступаетъ онъ къ критическому пересмотру своего достоянія. Даже убѣдившись въ негодности или недостаточности тѣхъ или другихъ усвоенныхъ формъ мысли, умъ человѣческій не хочетъ разстаться съ ними и упорно держится ихъ—по привычкѣ, по традиціи, т.-е., собственно говоря, потому, что ему удобнѣе орудовать ими, чѣмъ другими, новыми, къ которымъ онъ еще не приспособился. А усвоить новыя и построить новую систему воззрѣній — это требуетъ труда и новаго навыка. И отъ этой работы умъ, если можно, уклоняется...

Бываютъ счастливо-организованные умы, одаренные исключительною гибкостью и рѣдкою широтой умственныхъ интересовъ, открытые всѣмъ впечатлѣніямъ и возбужденіямъ мышленія, — умы, которые радостно и бодро идутъ впередъ вмѣстѣ съ человѣчествомъ. Таковъ былъ, напр., Гёте... У насъ къ этому умственному типу, несомнѣнно, принадлежалъ Пушкинъ, лозунгомъ котораго было: «на поприщѣ ума нельзя намъ отступать»!

Къ совершенно противоположному типу принадлежалъ Гоголь.

Гоголь былъ современникомъ великихъ событій въ умственной и общественно-политической жизни зап. Европы, которую онъ изъѣздилъ вдоль и поперекъ и гдѣ онъ подолгу живалъ. Оставляя въ сторонѣ движенія общественно-политическаго характера въ тѣсномъ смыслѣ, для пониманія которыхъ у него совсѣмъ не было «органа», мы укажемъ только на движенія и теченія эпохи 20—40-хъ гг. въ сферѣ литературы, искусствъ, науки и философіи. Поэтическое наслѣдіе Гёте и Шиллера въ Германіи, нѣмецкій романтизмъ, потомъ «юная Германія», поэзія Гейне; французская литература съ Гюго, Ламартиномъ, Жоржъ-Зандъ, Бальзакомъ и др., поэтическое наслѣдіе Байрона и новая англійская литература; могучія и глубокія философскія теченія, идущія отъ Гегеля, Фихте, Шеллинга; гуманитарныя и освободительныя идеи, восходящія къ

Спинозѣ, Лессингу, Канту, Гердеру; дальнѣйшее развитіе и критическій пересмотръ этихъ идей въ новой литературѣ; необычайное оживленіе въ области научныхъ изысканій (естествознаніе, лингвистика, право, исторія), привлекавшихъ вниманіе мыслящихъ людей, и т. д. и т. д.— вся эта работа умовъ, вся эта жизнь и роскошь духа, все это для Гоголя не существовало, ко всему этому онъ оставался глухъ и слѣпъ.

Вотъ что говоритъ объ этомъ П. В. Анненковъ въ своей извѣстной статьѣ «Гоголь въ Римѣ»: «...онъ рѣшительно ничего не читалъ изъ французской изящной литературы и принялся за Мольера только послѣ строгаго выговора, даннаго Пушкинымъ за небреженіе къ этому писателю. Такъ же мало зналъ онъ и Шекспира (Гёте и вообще нѣмецкая литература почти не существовали для него), и изъ всѣхъ именъ иностранныхъ поэтовъ и романистовъ было знакомо ему не по наслышкѣ и не по слухамъ одно имя—Вальтеръ-Скотта...» («Воспоминанія и критическіе очерки» 1877, I, стр. 187). И далѣе: «...взлелѣянный уединеніемъ Рима, онъ весь предался творчеству и пересталъ читать и заботиться о томъ, что̀ дѣлается въ остальной Европѣ. Онъ самъ говорилъ, что въ извѣстныя эпохи одна хорошая книга достаточна для наполненія всей жизни человѣка. Въ Римѣ онъ только перечитывалъ любимыя мѣста изъ Данте, Иліады Гнѣдича и стихотвореній Пушкина» (тамъ же, стр. 200).

Обширная переписка Гоголя какъ нельзя лучше подтверждаетъ эти показанія одного изъ достовѣрнѣйшихъ свидѣтелей и дорисовываетъ печальную картину умственной темноты и лѣни Гоголя. Въ этой огромной массѣ писемъ съ трудомъ можно найти двѣ-три страницы, гдѣ сказался бы извѣстный интересъ къ тѣмъ или инымъ явленіямъ умственной жизни запада. Изъ сокровищницы богатой умственной культуры запада Гоголь выбралъ себѣ только одно — искусство (скульптуру, живопись и архитектуру): путешествуя и живя за границей онъ почти всегда

обращалъ вниманіе на старыя и новыя произведенія этихъ искусствъ и вникалъ въ ихъ характеръ, смыслъ и значеніе. Особливо заинтересовался онъ итальянскимъ искусствомъ, въ томъ числѣ (отчасти) и античнымъ. Но и эта область, столь близкая и столь сродни ему, не вызвала въ немъ сколько-нибудь значительной работы мысли, и, повидимому, какъ старая, такъ и новая литература по исторіи и теоріи искусства осталась ему неизвѣстною.

Мы имѣемъ здѣсь передъ собою фактъ, если не единственный въ своемъ родѣ, то, по крайней мѣрѣ, исключительно-рѣдкій. Чтобы геніальный поэтъ и человѣкъ съ такимъ большимъ, глубокимъ и тонкимъ умомъ, какъ Гоголь, могъ духовно существовать и творить внѣ умственной жизни вѣка, внѣ духовнаго общенія, безъ умственной пищи, какъ хлѣбъ насущный, необходимой всякому мыслящему уму, — это нѣчто почти невѣроятное, это — настоящая психологическая загадка. Чѣмъ выше умъ, чѣмъ богаче одаренъ человѣкъ дарами мысли и творчества, тѣмъ нужнѣе ему умственная пища, какъ въ видѣ матеріала для работы мысли, такъ и въ видѣ идей, точекъ зрѣнія, методовъ и т. д., выработанныхъ и установленныхъ другими дѣятелями на различныхъ поприщахъ умственнаго труда. И чѣмъ больше и оригинальнѣе умъ, тѣмъ больше беретъ онъ другихъ умовъ. Гоголь почти ничего не взялъ, да и не хотѣлъ брать. Очевидно, ему не нужны были тѣ умственныя возбужденія, которыя такъ необходимы людямъ мысли вообще, дѣятелямъ творческой мысли въ особенности. Всякое творчество, какъ философское и научное, такъ и художественное, не можетъ обойтись безъ пріобщенія къ результатамъ чужого творчества, въ особенности творчества великихъ дѣятелей мысли въ прошломъ и настоящемъ. Вспомнимъ, какъ много былъ обязанъ Гёте чтенію античныхъ писателей, вліянію Лессинга, изученію Спинозы; какое значеніе имѣли для Шиллера античные писатели, Руссо и т. д.; для Пушкина—новая французская литература, Байронъ

и Шекспиръ и т. д. Оригинальное и творческое мышленіе зажигается отъ другого оригинальнаго и творческаго мышленія, и чѣмъ больше такихъ возбудителей было въ распоряженіи мыслителя или художника, тѣмъ шире развернется и глубже будетъ захватывать его собственное творчество.

Гоголь является страннымъ исключеніемъ изъ этого правила...

Это «исключеніе», представляемое Гоголемъ, можно выразить такъ:

Гоголь создалъ великія произведенія, изъ которыхъ одно, «Мертвыя Души», безъ всякаго сомнѣнія, останется навсегда однимъ изъ крупнѣйшихъ вкладовъ въ сокровищницу міровой литературы. Въ этомъ геніальномъ созданіи заключено такъ много мысли, въ немъ такая глубина созерцанія, такая широта художественнаго кругозора, въ немъ проявился такой размахъ и подъемъ творчества, что читатель, не знающій ничего о Гоголѣ, въ правѣ сказать, заключая отъ произведенія къ автору: вотъ художникъ, у котораго природная сила мысли была изощрена изученіемъ великихъ произведеній искусства; вотъ поэтъ, выработавшій себѣ, на изученіи мыслителей разныхъ вѣковъ, широту художественнаго воззрѣнія; онъ также, навѣрно, долго и, можетъ быть, въ подлинникѣ изучалъ Гомера, которому онъ не уступитъ въ пластикѣ изображенія, и былъ знатокомъ Шекспира, съ которымъ можетъ поспорить въ знаніи души человѣческой, въ психологіи характеровъ и страстей... И крайне будетъ озадаченъ этотъ читатель, когда узнаетъ, что Гоголь зналъ Гомера только по Гнѣдичу (и позже, уже послѣ изданія первой части «Мертвыхъ Душъ», по Жуковскому), Шекспира даже и не читалъ какъ слѣдуетъ, равно какъ и Гёте, а имена мыслителей зналъ, да и то не очень твердо, лишь по наслышкѣ.

Вотъ и попробуемъ разобраться въ этомъ противорѣчіи.

II.

Прежде всего замѣтимъ, что у настоящихъ художниковъ нельзя отдѣлять умъ отъ таланта: ихъ талантъ—это одно изъ свойствъ или одна изъ сторонъ ихъ ума. Если талантъ огроменъ, то, стало быть, это огроменъ умъ, котораго принадлежностью является данный талантъ. Таланты могутъ быть, въ извѣстной мѣрѣ, отдѣляемы отъ ума только тогда, когда они—внѣшніе, узко-спеціальные, техническіе, часто зависящіе отъ особенностей физіологической организаціи (тонкость слуха при музыкальномъ талантѣ, сила зрѣнія при живописномъ и т. д.). Но умы высшаго порядка, умы творческіе, разъ они одарены какимъ-либо талантомъ, не могутъ, если позволено такъ выразиться, быть умнѣе или глупѣе своего таланта. Говоря такъ, мы имѣемъ въ виду талантъ, органически присущій уму, обусловленный самимъ характеромъ, пошибомъ, интимнымъ устройствомъ этого ума. Такой умъ-талантъ не измѣнитъ себѣ, не будетъ ниже себя не только въ своемъ творчествѣ, но и въ своихъ проявленіяхъ внѣ творчества. Вспомнимъ непоэтическія произведенія и письма Гёте, Шиллера, Гейне, Пушкина, Тургенева и др. Не даромъ эти вещи, часто совершенно-интимныя, не предназначавшіяся для публикаціи, получаютъ общій интересъ и входятъ въ національную, а иногда и общечеловѣческую литературу.

Обращаясь къ Гоголю, возьмемъ сперва тѣ верхи творчества, которыхъ онъ достигъ. Вспомнимъ типы «Мертвыхъ Душъ», наприм., Манилова, Собакевича, Плюшкина. Какая широта художественнаго обобщенія! Вѣдь это всемірные, общечеловѣческіе типы. Нѣтъ народа, гдѣ бы не нашлись свои Маниловы и Собакевичи. Но это не тѣ блѣдныя фигуры-схемы, которыя широки потому только, что малосодержательны, что онѣ—общія мѣста искусства. Нѣтъ, это фигуры строго-конкретныя, съ плотью и кровью, пріуроченныя къ націи, классу, мѣсту, времени, т.-е. бо-

гатыя содержаніемъ, но въ то же время надѣленныя огромною обобщающею силой. Спрашивается: талантомъ или умомъ созданы онѣ? Не талантомъ, какъ таковымъ, и не умомъ въ отдѣльности, а *геніальнымъ умомъ-талантомъ.*— Здѣсь послушаемъ, что́ говоритъ самъ Гоголь о своемъ творчествѣ въ письмѣ къ Шевыреву (отъ 28 февр. 1843 г.): «...я могу теперь работать увѣреннѣе, тверже, осмотрительнѣе, благодаря тѣмъ подвигамъ, которые я предпринималъ къ воспитанію моему... Наприм., никто не зналъ, для чего я производилъ передѣлки моихъ прежнихъ пьесъ, тогда какъ я производилъ ихъ, *основываясь на разумѣніи самого себя,* на *устройствѣ головы своей* *). Я видѣлъ, что на этомъ одномъ я могъ только навыкнуть производить *плотное созданіе, сущное, твердое, освобожденное отъ излишествъ, вполнѣ ясное и совершенное въ высокой трезвости духа...*» *).

Это мѣсто пригодится намъ и потомъ, въ нашихъ дальнѣйшихъ попыткахъ понять Гоголя. Здѣсь же оно цѣнно и важно намъ, какъ свидѣтельство о томъ, что въ процессѣ созданія и разработки образовъ Гоголь былъ *мыслитель* въ полномъ смыслѣ этого слова, т.-е. работалъ умомъ, со всѣми дарами его, какіе только были въ наличности. Онъ вовсе не творилъ «однимъ талантомъ», однимъ поэтическимъ даромъ», — «какъ птичка поетъ». Такое птичье творчество было совершенно чуждо Гоголю, какъ чуждо оно всѣмъ истиннымъ художникамъ, всѣмъ настоящимъ поэтамъ. Творчество Гоголя было тяжелымъ подвигомъ мысли, трудной и кропотливой работой ума. Эта работа простиралась и на цѣлое, и на частности, не пренебрегая послѣдними мелочами.

Если «Мертвыя Души» и были начаты безъ заранѣе выработаннаго плана, то во время работы общій планъ труда не замедлилъ явиться въ головѣ Гоголя, и великій поэтъ, трудясь надъ знаменитой «поэмой», не пере-

---

*) Курсивъ мой.

ставалъ разрабатывать и совершенствовать этотъ планъ. И, разумѣется, это было по преимуществу дѣломъ сознательной и при томъ критической работы мысли. Прочтемъ здѣсь слѣдующія строки изъ письма къ Шевыреву (отъ 2 марта 1843 г.): «...Представь себѣ архитектора, строящаго зданіе, которое все загромождено и заставлено у него лѣсомъ; чего стоитъ ему снимать лѣса и показывать неоконченную работу, какъ будто бы кирпичъ вчернѣ и первое пришедшее въ голову слово въ силахъ разсказать о фасадѣ, который еще въ головѣ архитектора». Здѣсь Гоголь сравниваетъ съ работою архитектора свою работу надъ построеніемъ и развитіемъ плана «Мертвыхъ Душъ», въ связи съ внутреннею моральною работой «самовоспитанія», къ которой онъ обратился въ данное время.

Помимо общаго плана, Гоголь затрачивалъ огромную массу труда на усовершенствованія художественнаго воспроизведенія фигуръ, на развитіе характеровъ, на разработку отдѣльныхъ сценъ, подробностей и, наконецъ, языка. Это краснорѣчиво подтверждается рукописями Гоголя и сохранившимися первоначальными редакціями различныхъ произведеній. Медленнымъ, упорнымъ трудомъ *критики* собственныхъ созданій, вдумчивостью во всѣ детали, взвѣшиваніемъ отдѣльныхъ выраженій, сокращеніями, измѣненіями и т. д. Гоголь и достигалъ того совершенства въ творчествѣ, которое онъ въ вышеприведенномъ мѣстѣ изъ письма къ Шевыреву (28 февр. 1843 г.) называетъ «высокою трезвостью духа». И такимъ путемъ онъ создавалъ произведенія въ самомъ дѣлѣ «сущныя», «твердыя», свободныя «отъ излишествъ и неумѣренности», «вполнѣ ясныя и совершенныя»... Да, этотъ человѣкъ, этотъ «взыскательный художникъ» имѣлъ полное право сказать (въ письмѣ къ Прокоповичу, отъ 28 мая 1843 г.): «они (его сочиненія) писаны долго, *въ обдумываніи многихъ изъ нихъ прошли годы* [1]), а потому не угодно ли

---

[1]) Курсивъ мой.

читателямъ моимъ тоже подумать о нихъ на досугѣ и всмотрѣться пристальнѣй...»

Непосредственнымъ слѣдствіемъ этого долгаго обдумыванія, т.-е. продолжительнаго умственнаго труда, преимущественно сознательнаго, является слѣдующее любопытное обстоятельство. Когда читаешь первую часть «Мертвыхъ Душъ», а также и по окончаніи чтенія, кажется, будто это — большой томъ, обширное произведеніе. На самомъ же дѣлѣ это весьма небольшая книжка. Иллюзія происходитъ отъ того, что въ эту небольшую книжку вложено огромное содержаніе. Тамъ мы имѣемъ: рядъ большихъ художественныхъ типовъ, съ широкимъ захватомъ обобщенія и съ детально-разработанною индивидуальностью (Чичиковъ, Ноздревъ, Маниловъ, Собакевичъ, Плюшкинъ, Коробочка, Селифанъ, Петрушка), рядъ второстепенныхъ, эпизодическихъ лицъ, также весьма опредѣлительно-очерченныхъ (прокуроръ и другіе чиновники, Мижуевъ, губернаторская дочка, дамы, мужики), наконецъ, почти сплошную (за изъятіемъ немногихъ страницъ) образность изложенія: образы идутъ нескончаемою вереницей, служа то способомъ изображенія, то сравненіемъ, то художественною аллегоріей («притчею», какъ повѣсть о капитанѣ Копейкинѣ и эпизодъ о Кифѣ Мокіевичѣ).

Каждый изъ главныхъ образовъ-типовъ объемлетъ обширный кругъ явленій, частью бытовыхъ-русскихъ, частью общечеловѣческихъ; слѣдовательно, объемъ ихъ весьма великъ; а такъ какъ это — рѣзко-выраженныя и опредѣлительно-разработанныя индивидуальности, то весьма значительно и содержаніе, въ нихъ сгущенное. Отдѣльные образы въ описаніяхъ и сравненіяхъ въ большинствѣ случаевъ суть маленькія законченныя картинки, миніатюры, имѣющія свою цѣнность сами по себѣ и раскрывающія намъ цѣлыя перспективы, далеко уходящія въ глубь жизни или психики. Въ ряду этихъ образовъ важнѣйшее мѣсто принадлежитъ, конечно, тѣмъ, въ которые облечены мысли Чичикова въ знаменитомъ мѣстѣ гла-

вы VII, гдѣ онъ воспроизводитъ прошлое купленныхъ имъ «душъ»...

Наконецъ, вспомнимъ о гоголевскомъ «смѣхѣ», о художественной ироніи Гоголя, которая удвояетъ содержательность всякой черты, въ которую она вплетена. Иронія сама по себѣ есть наполовину мысль, она — освѣщеніе факта, шагъ къ его критикѣ, постановка вопроса о немъ. Поэтому къ запасу мысли, вложенному въ образъ, присоединяется еще другой запасъ, привносимый ироніей. И если бы возможно было развернуть и мысленно охватить то содержаніе, которое внесено въ «Мертвыя Души» гоголевскимъ «смѣхомъ», то мы получили бы представленіе значительныхъ по количеству и весьма высокихъ по качеству цѣнностей мысли...

Нетрудно видѣть, что создать и сгустить въ поэтическихъ образахъ все это содержаніе, художественно-выраженное въ небольшой книжкѣ, значило произвести *гигантскую работу, и при томъ такую, которая подъ силу только геніальному художественному уму*,—работу, въ которой творчество безсознательное и дѣятельность сознанія шли рядомъ, уравновѣшивая и дополняя другъ друга, помогая другъ другу. Затрата умственныхъ силъ была огромная...

Вотъ и спросимъ: чѣмъ же питался этотъ геніальный умъ? Какими стимулами двигалась эта мысль? Неужели эта великая работа такъ-таки и обходилась «собственными средствами», безъ всякихъ возбужденій со стороны, безъ тѣхъ стимуловъ, которые исходятъ отъ другихъ умовъ?

III.

Мы уже знаемъ, что такихъ стимуловъ у Гоголя было мало — въ силу природной лѣни его ума, несокрушимой консервативности и недостаточной отзывчивости его мысли. Но они все-таки были и безъ нихъ Гоголь обойтись не могъ. Укажемъ хоть бы на *Жуковскаго* съ его широкой

гуманностью и его симпатичнымъ поэтическимъ даромъ, на *С. Т. Аксакова*, этого умницу съ несомнѣннымъ художественнымъ дарованіемъ, на *Шевырева* съ его эрудиціею, на *Языкова* съ его лирическимъ талантомъ, наконецъ, на *Смирнову* съ ея незауряднымъ женскимъ умомъ и образованіемъ и т. д. Что эти лица были для Гоголя источниками умственныхъ возбужденій, въ этомъ едва ли можно сомнѣваться. Гоголь несомнѣнно черпалъ отъ нихъ немало и мыслей, и свѣдѣній, и вообще получалъ то оживленіе и освѣженіе умственной дѣятельности, которое всегда является слѣдствіемъ общенія умовъ. При ограниченности образованія, при ничтожной начитанности Гоголя такой по своему времени широко-образованный человѣкъ и несомнѣнный ученый, какъ Шевыревъ, былъ для него настоящей находкой и невольно, самъ того не вѣдая, служилъ двигателемъ его мысли. Не слѣдуетъ думать, будто великіе умы—таланты питаются и движутся только тѣми возбужденіями, которыя исходятъ отъ другихъ великихъ умовъ-талантовъ, отъ геніевъ. На ряду съ таковыми они всегда получаютъ значительныя возбужденія и отъ второстепенныхъ умовъ, отъ среднихъ дарованій, наконецъ, отъ вліянія женскихъ натуръ. Яркія подтвержденія этого даетъ между прочимъ біографія Гёте, котораго умъ развивался и возбуждался къ творческой дѣятельности не только силой вліяній, шедшихъ отъ Спинозы, Лессинга, Гердера, Шекспира, классиковъ и т. д., но и силою возбужденій менѣе сильныхъ, но зато болѣе постоянныхъ и интимныхъ, вытекавшихъ изъ общенія и дружескихъ связей съ «обыкновенными смертными» (вспомнимъ Мерка) и—болѣе или менѣе необыкновенными женщинами.

Что касается Гоголя, то важность для него общенія съ образованнымъ и умнымъ человѣкомъ наглядно подтверждается эпизодомъ его знакомства и его переписки съ Анненковымъ. Нѣкоторыя черты изъ этого эпизода послужатъ хорошею иллюстраціей нашей мысли.

Гоголь неуклонно шелъ своимъ путемъ и дѣлалъ свое

дѣло по-своему, но при этомъ онъ не выпускалъ случая прислушиваться къ тому, что говорятъ, какъ думаютъ и понимаютъ вещи умные люди, преимущественно тѣ, которые стояли на точкѣ зрѣнія, ему чуждой. Къ числу таковыхъ принадлежалъ *П. В. Анненковъ*, который умѣлъ особливо-возбуждающимъ образомъ дѣйствовать на мысль Гоголя, открывая ему новые горизонты, ставя новые вопросы, заставляя его задумываться надъ многимъ, надъ чѣмъ Гоголь не привыкъ задумываться. Въ 1847 году (отъ 7-го сент.) Гоголь писалъ Анненкову: «Ваше желаніе слѣдить все, не останавливаясь особенно ни надъ чѣмъ, очень понятно. Въ немъ слышится разумное стремленіе всего нынѣшняго вѣка. Но не понятенъ для меня духъ нѣкотораго *удовлетворенія* *) вашимъ нынѣшнимъ состояніемъ, точно какъ бы вы уже нашли важную часть того, что ищете, и какъ бы стали уже на верховную точку вашего разумѣнія и вашего воззрѣнія на вещи. Вы уже подымаете заздравный кубокъ и говорите: «да здравствуетъ простота положеній и отношеній, основанныхъ на практической дѣйствительности, здравомъ смыслѣ, положительномъ законѣ, принципѣ равенства и справедливости!» Смыслъ всего этого необъятно обширенъ. Цѣлая бездна между этими словами и примѣненіями ихъ къ дѣлу. Если вы станете дѣйствовать и проповѣдывать, и то прежде всего замѣтятъ въ вашихъ рукахъ эти заздравные кубки, до которыхъ такой охотникъ русскій человѣкъ, и перепьются всѣ, прежде чѣмъ узнаютъ, изъ-за чего было пьянство. Нѣтъ, мнѣ кажется, никому изъ насъ не слѣдуетъ въ нынѣшнее время торжествовать и праздновать настоящій мигъ своего *взгляда* *) и *разумѣнія* *). Онъ завтра же можетъ быть уже другимъ; завтра же можемъ мы стать умнѣй насъ *сегодняшнихъ*...» *)

Нельзя не видѣть, какъ расшевелилась и стала работать въ извѣстномъ направленіи мысль Гоголя, возбуж-

*) Курсивъ Гоголя.

денная Анненковымъ. Оттуда уже не далеко и до нѣкотораго расширенія тѣхъ горизонтовъ, которые у Гоголя были узки. Дальше читаемъ: «Несмотря на то, что *взглядъ мой на современность только что проснулся*[1]), и я еще новичокъ въ этомъ дѣлѣ, но сколько могу судить по тѣмъ результатамъ, *которые отбираю теперь отъ всѣхъ людей, прилежно наблюдающихъ за дѣйствующими нынѣ силами въ Европѣ*[2]), я однако же замѣтилъ нѣкоторую неполноту въ вашихъ наблюденіяхъ...» Далѣе Гоголь указываетъ Анненкову на Англію, которую послѣдній «оставилъ совершенно въ сторонѣ» и гдѣ Гоголь усматриваетъ «важную сторону современнаго дѣла». Онъ совѣтуетъ Анненкову пожить въ Англіи, а «затѣмъ избрать предметомъ наблюденій не одинъ какой-нибудь классъ *пролетаріевъ*, изученіе котораго стало теперь моднымъ, но взглянуть на всѣ классы, не выключая никакого изъ нихъ». Тутъ же Гоголь указываетъ на то, что въ Англіи «мѣстами является разумное слитіе того, что доставила человѣку высшая *гражданственность*, съ тѣмъ, что составляетъ первообразную *патріархальность*....» Все это свидѣтельствуетъ о томъ, что Гоголь какъ бы протеръ глаза, что живя въ Европѣ, онъ наконецъ увидѣлъ Европу, и его мысль пробудилась для изученія современности, откуда — возможность усвоенія новыхъ идей и идеаловъ. Безъ всякаго сомнѣнія, личное знакомство съ Анненковымъ, бесѣды съ нимъ и переписка въ значительной мѣрѣ послужили толчкомъ къ этому пробужденію.

На этомъ эпизодѣ мы между прочимъ наблюдаемъ слѣдующее: лѣнь ума, присущая Гоголю, была не только та, которая выражается въ косности, въ тупой приверженности къ старымъ воззрѣніямъ, сколько та, въ силу которой человѣкъ не находитъ въ себѣ достаточно ини-

---

[1]) Курсивъ мой.—Лучше поздно, чѣмъ никогда. Но и то сказать: шелъ 1847 годъ, и Гоголю было 38 лѣтъ.

[2]) Курсивъ мой.

ціативы, чтобы приняться за усвоеніе новаго. *Это была не лѣнь мыслить, а лѣнь учиться.*

Всякій человѣкъ является въ жизни своей одновременно и «мыслителемъ» (у всякаго своя философія), и «ученикомъ» жизни, цивилизаціи, новыхъ идей, новыхъ стремленій и настроеній, новыхъ завоеваній науки, философіи, искусства. Отношеніе въ каждомъ изъ насъ «мыслителя» къ «ученику» бываетъ весьма различно: одинъ является одинаково хорошимъ «мыслителемъ» и «ученикомъ», другой—«хорошимъ мыслителемъ» и плохимъ «ученикомъ», третій—наоборотъ и т. д. Есть люди, которые всѣмъ интересуются, за всѣмъ слѣдятъ, все читаютъ, и въ результатѣ въ головѣ у нихъ получается нѣкоторая каша, которую они называютъ «міросозерцаніемъ»: это—хорошіе, т. е. прилежные «ученики» и совсѣмъ ужъ плохіе мыслители. Гоголь, наоборотъ, былъ отличный «мыслитель» и совсѣмъ плохой, лѣнивый «ученикъ». Онъ такъ и не научился ни пониманію современности, ея движенія, ея задачъ, ни новой философіи, ни тому, что давала мыслящему человѣку художественная и прозаическая литература 30—40-хъ г.г. А вѣдь было чему научиться тамъ....

Лѣнивый ученикъ, Гоголь, подобно анекдотическому семинаристу, убоялся «бездны премудрости». Тому роду лѣни ума, который былъ присущъ Гоголю, свойственны своеобразные—умственные—*страхи* передъ новымъ знаніемъ, новымъ синтезомъ знанія, новымъ направленіемъ умовъ. Гегельянство, этотъ истинный властитель думъ той эпохи, великая освободительная философія, благую мощь которой испытали на себѣ Бѣлинскіе, Герцены, Прудоны, да и почти вся мыслящая Европа, казалось Гоголю «бездной премудрости», къ которой онъ чувствовалъ родъ инстинктивнаго страха и отвращенія. Это несомнѣнно—*обломовщина*, именно обломовщина ума, какъ органа познанія и движенія мысли.

Лѣнивый, плохой «ученикъ», Гоголь былъ однако по-

своему отличный «мыслитель», ибо обладалъ геніальнымъ умомъ-талантомъ. Лѣнь ума и умственные «страхи» не позволили ему выйти изъ темноты, но они не могли упразднить самобытной работы его мысли. И онъ неустанно работалъ мыслью, но только эта работа совершалась во тьмѣ.

Излишне приводить доказательства умственной темноты Гоголя,—многія страницы «Выбранныхъ мѣстъ» и писемъ слишкомъ краснорѣчиво свидѣтельствуютъ о ней (одно изъ самыхъ краснорѣчивыхъ — вѣра въ чорта).— Гораздо важнѣе показать, что этотъ темный умъ былъ великій умъ и что, пребывая во тьмѣ, Гоголь иногда видѣлъ и понималъ то, чего часто не видятъ и не понимаютъ люди, вышедшіе изъ тьмы, умы просвѣщенные...

Прочтемъ слѣдующее мѣсто изъ того же письма къ Анненкову: «Мнѣ кажется еще, что вы напрасно чуждаетесь спеціальнаго труда. Какой-нибудь спеціальный трудъ долженъ быть непремѣнно у каждаго изъ насъ. Сверхъ пребыванія на боевой вершинѣ современнаго движенія, нужно имѣть свой собственный уголокъ, въ который можно было бы на время уходить отъ всего. Нельзя, чтобы каждый изъ насъ не получилъ на долю свою какой-нибудь способности, ему принадлежащей; нельзя, чтобы не было ея и у васъ. Иначе мы бы всѣ походили другъ на друга, какъ двѣ капли воды, и весь міръ былъ бы одна мануфактурная машина. Безъ спеціальнаго труда не образуется характеръ индивидуала, изъ которыхъ слагается общество, идущее *впередъ* *). Безъ этихъ своеобразно работающихъ единицъ *не быть* *) общему прогрессу».

Эта глубоко-вѣрная мысль отнюдь не общее мѣсто, и она не была случайнымъ замѣчаніемъ, пришедшимъ въ голову ad hoc, по поводу того обстоятельства, что Анненковъ, стоя «на боевой вершинѣ современнаго движе-

*) Курсивъ Гоголя.

нія», не избралъ себѣ опредѣленной спеціальности. Мы имѣемъ здѣсь возможность заглянуть въ интимную работу мысли Гоголя, какъ своеобразнаго «мыслителя» и художника.

Живя въ Европѣ, Гоголь давно уже отмѣчалъ многовѣковую культурность европейца, воспитанную въ спеціальномъ трудѣ, и противопоставлялъ ее нашей русской некультурности, плохому развитію у насъ спеціальнаго труда на разныхъ поприщахъ, отсутствію у насъ того, чтó можно назвать «культомъ труда». Вспомнимъ знаменитое мѣсто въ VII главѣ I части «Мертвыхъ Душъ»: «Максимъ Телятниковъ, сопожникъ. Хе, сапожникъ! Пьянъ, какъ сапожникъ, говоритъ пословица. Знаю, знаю тебя, голубчикъ; если хочешь, всю исторію твою разскажу. Учился ты у нѣмца, который кормилъ васъ всѣхъ вмѣстѣ, билъ ремнемъ по спинѣ за неаккуратность и не выпускалъ на улицу повѣсничать, и былъ ты чудо, а не сапожникъ; и не нахвалился тобою нѣмецъ, говоря съ женой или съ камрадомъ. А какъ кончилось твое ученіе: «А вотъ теперь я заведусь своимъ домкомъ», сказалъ ты: да не такъ, какъ нѣмецъ, чтò изъ копейки тянется, а вдругъ разбогатѣю». И вотъ, давши барину порядочный оброкъ, завелъ ты лавчонку, набравъ заказовъ кучу, и пошелъ работать. Досталъ гдѣ-то въ три-дешева гнилушки кожи и выигралъ, точно, вдвое на всякомъ сапогѣ, да черезъ недѣли двѣ перелопались твои сапоги, и выбранили тебя подлѣйшимъ образомъ. И вотъ лавчонка твоя запустѣла, и ты пошелъ попивать да валяться по улицамъ, приговаривая: «Нѣтъ, плохо на свѣтѣ! Нѣтъ житья русскому человѣку: все нѣмцы мѣшаютъ!»

Вотъ картинка, въ которой, какъ и во многихъ другихъ «миніатюрахъ» «Мертвыхъ Душъ», поставленъ рѣшающій діагнозъ нашей «бѣдности да бѣдности». Діагнозъ гласитъ: 1) отсутствіе настоящаго труда, въ европейскомъ смыслѣ этого слова; 2) отсутствіе добросовѣстности въ трудѣ и вообще слабое развитіе совѣсти, кото-

рая вырабатывается, вмѣстѣ съ сознаніемъ обязательствъ и отвѣтственности, только въ культурной работѣ поколѣній; 3) стремленіе къ легкой наживѣ, окрыляемое природною талантливостью русскаго человѣка.—Но кто же это такъ мѣтко и вѣрно охарактеризовалъ сапожника Максима Телятникова и набросалъ эту художественную картинку его трудовой и этической несостоятельности? Это сдѣлалъ П. И. Чичиковъ, самъ человѣкъ легкой наживы, самъ человѣкъ безъ труда и трудовой этики, талантливый и неунывающій россіянинъ, типичный представитель націи, не воспитавшейся въ условіяхъ интенсивной культуры, а потому и не обладающій тѣмъ «характеромъ», о которомъ сказано (въ письмѣ къ Анненкову), что онъ «не образуется безъ спеціальнаго труда».

Вспомнимъ и другой образъ, въ которомъ дано выраженіе другой сторонѣ все той же русской невыдержанности и невоспитанности въ трудѣ: прототипъ Ильи Ильича Обломова, «Андрей Ивановичъ Тентетниковъ принадлежалъ къ семейству тѣхъ людей, которые на Руси не переводятся, которымъ прежде имена были: увальни, лежебоки, байбаки, и которыхъ теперь, право, не знаю, какъ назвать» (Вторая часть «Мертв. Д.», гл. I). Со времени знаменитаго романа Гончарова и классической статьи Добролюбова объ «Обломовщинѣ» мы называемъ ихъ «Обломовыми» и видимъ въ нихъ представителей нашего національнаго типа въ одномъ изъ крайнихъ и болѣзненныхъ выраженій его [1]).

«Мертвыя Души»—это великая національная эпопея, гдѣ «выпукло и ярко» выставлено «на всенародныя очи» наше «ничего-недѣланіе» и этой сторонѣ ея подведенъ итогъ въ словахъ Платонова (IV гл. II-ой части): «иной разъ, право, мнѣ кажется, что будто русскій человѣкъ—какой-то пропащій человѣкъ. Хочешь все сдѣлать—и ни-

---

[1]) Другая сторона нашего національнаго типа была въ *Каратаевѣ*, о чемъ см. въ моей книгѣ „Л. Н. Толстой какъ художникъ".

чего не можешь. Все думаешь—съ завтрашняго дня начнешь новую жизнь, съ завтрашняго дня сядешь на діэту; ничуть не бывало: къ вечеру того же дня такъ объѣшься, что только хлопаешь глазами, и языкъ не ворочается—какъ сова сидишь, глядя на всѣхъ—право! И этакъ всѣ».

Письмо, гдѣ указывается на Англію и гдѣ говорится, что «безъ своеобразно работающихъ единицъ не быть общему прогрессу», служитъ отличнымъ комментаріемъ къ идеѣ «Мертвыхъ Душъ» и вмѣстѣ является свидѣтельствомъ глубокой вдумчивости Гоголя, необыкновенной проницательности его ума.

Но здѣсь же обнаруживается и оборотная сторона этого ума. Въ приведенномъ письмѣ (отъ 7-го сентября 1847 г.) читаемъ: «Всѣ мы ищемъ того же: всякій изъ мыслящихъ нынѣ людей, если только онъ благороденъ душой и возвышенъ чувствами, уже ищетъ законной желанной *середины* [1]), уничтоженія лжи и преувеличенностей *во всемъ* [1]) и снятія грубой коры, грубыхъ толкованій, въ которыя способенъ человѣкъ облекать самыя великія и съ тѣмъ вмѣстѣ простыя истины. Но всѣ мы стремимся къ тому различными дорогами, смотря по разнообразію данныхъ намъ способностей и свойствъ, въ насъ работающихъ: одинъ стремится къ тому путемъ *религіи и самопознанія внутренняго* [2]), другой—путемъ изысканій историческихъ и *опыта (надъ другими)* [2]), третій—путемъ наукъ естествознательныхъ, четвертый — путемъ *поэтическаго постиновенія и орлинаго соображенія вещей* [2]), не обхватываемыхъ взглядомъ простого человѣка,—словомъ, разными путями, смотря по большему или меньшему въ себѣ развитію преобладательно въ немъ заключенной способности». Какимъ же путемъ шелъ самъ Гоголь? Онъ очевидно шелъ одновременно и путемъ «ре-

---

[1]) Курсивъ Гоголя.

[2]) Курсивъ мой.

лигіи и самопознанія внутренняго», и тѣмъ, который онъ называетъ «опытомъ надъ другими», и наконецъ путемъ интуиціи художника («поэтическое постигновеніе»), — художника геніальнаго, который въ своихъ созданіяхъ дѣйствительно проявляетъ «орлиное соображеніе вещей». Изперечисленныхъ путей чужды были Гоголю два: путь «историческихъ изысканій» и «наукъ естествознательныхъ». Вмѣстѣ съ тѣмъ чуждъ былъ ему и еще одинъ—самый главный — путь, въ приведенной выдержкѣ совсѣмъ не упомянутый. О существованіи его Гоголь, повидимому, и не догадывался. Нетрудно видѣть, что всѣ указанные имъ пути суть только особыя дороги и тропинки, частью идущія параллельно главному, столбовому пути, частью уклоняющіяся въ сторону отъ него. Та или другая изъ нихъ дѣйствительно избирается отдѣльными лицами сообразно ихъ дарованіямъ и вообще особенностямъ ихъ духовной организаціи. Главный же, столбовой путь къ свѣту, къ идеалу, къ выработкѣ раціональнаго, прогрессивнаго и жизнеспособнаго воззрѣнія, путь, который Гоголь просмотрѣлъ, это — *пріобщеніе мыслящаго ума къ сокровищамъ всемірной умственной культуры и его воспитаніе въ духѣ пріемовъ, нормъ, понятій и идеаловъ общечеловѣческой научно-философской и общественной мысли, идущей впередъ.* Этотъ путь долженъ быть обязателенъ для всякаго мыслящаго человѣка, все равно, будетъ ли онъ историкомъ или естествоиспытателемъ, адептомъ религіи или художникомъ. И никакое «внутреннее самосознаніе», а равно и «поэтическое постигновеніе», вмѣстѣ съ «орлиннымъ соображеніемъ вещей», не помогутъ дѣлу, не выведутъ человѣка къ свѣту сознанія и исторически-правильнаго (для данной эпохи) воззрѣнія на жизнь, на ея развитіе и задачи, если этотъ человѣкъ стоитъ въ сторонѣ отъ всемірнаго движенія умовъ, отъ многовѣковой культуры мысли. А чтобы не остаться въ сторонѣ, чтобы пріобщиться къ этому движенію и культурѣ, нужно прежде всего *учиться*, нужно быть *хорошимъ ученикомъ въ міро-*

вой школѣ общечеловѣческаго знанія и идеала, и отъ этой ученической обязанности ничуть не избавляется тотъ, кто самъ—великій умъ и геній. Напротивъ, такой умъ и геній долженъ быть *тѣмъ паче* «хорошимъ ученикомъ».

Гоголь былъ совсѣмъ плохимъ «ученикомъ».

Напротивъ, отличнымъ «ученикомъ» былъ Пушкинъ, замѣнившій Гоголю то, что мы назвали «міровою школою общечеловѣческаго знанія и идеала».

Въ началѣ карьеры Гоголя ослѣпительно-яркій лучъ свѣта проникъ въ его темный умъ и озарилъ дальнѣйшій путь его творчества. Этотъ лучъ былъ Пушкинъ, и глубокій смыслъ и великую правду таитъ въ себѣ восклицаніе Гоголя (въ письмѣ къ Жуковскому отъ 30 октября 1837 г.): «О, Пушкинъ, Пушкинъ! какой прекрасный сонъ удалось мнѣ видѣть въ жизни, и какъ печально было мое пробужденіе!»

Перечисляя выше тѣхъ, кто такъ или иначе служилъ для Гоголя источникомъ умственныхъ возбужденій и могъ содѣйствовать расширенію его кругозора, я нарочито пропустилъ имя Пушкина: его вліяніе на Гоголя составляетъ особый вопросъ, къ разсмотрѣнію котораго мы и обратимся теперь.

IV.

Какъ много помогъ Пушкинъ Гоголю понять себя самого, свое настоящее призваніе, какъ онъ будилъ его мысль и возбуждалъ ея творческую работу,—все это достаточно извѣстно. Передача сюжетовъ «Ревизора» и «Мертвыхъ Душъ»—только эпизодъ изъ кратковременной, къ сожалѣнію, исторіи общенія этихъ двухъ умовъ, суть котораго—въ благотворномъ, просвѣтительномъ вліяніи ума свѣтлаго на умъ темный. Гоголь отлично сознавалъ, чѣмъ онъ обязанъ Пушкину, и это сознаніе выразилось въ письмахъ, написанныхъ Гоголемъ по полученіи извѣстія о смерти великаго поэта. 16 марта 1837 г. онъ писалъ Плетневу (изъ Рима): «Все наслажденіе моей

жизни, все мое высшее наслажденіе исчезло вмѣстѣ съ нимъ. Ничего не предпринималось безъ его совѣта. Ни одна строка не писалась безъ того, чтобы я не воображалъ его передъ собою. Что скажетъ онъ, что замѣтитъ онъ, чему посмѣется, чему изречетъ неразрушимое и вѣчное одобреніе свое—вотъ что меня только занимало и одушевляло мои силы. *Тайный трепетъ невкушаемаго на землѣ удовольствія обнималъ мою душу...* [1]). Боже! нынѣшній трудъ мой [2]), внушенный имъ, его созданіе... я не въ силахъ продолжать его...»

Погодину онъ писалъ (отъ 30 марта 1837 г.): «Я получилъ твое письмо въ Римѣ. Оно наполнено тѣмъ же, чѣмъ наполнены теперь всѣ наши мысли. Ничего не говорю о великости этой утраты. Моя утрата всѣхъ больше. Ты скорбишь какъ русскій, какъ писатель, я... я и сотой доли не могу выразить моей скорби. *Моя жизнь, мое высшее наслажденіе умерло съ нимъ* [3]). Мои свѣтлыя минуты моей жизни были минуты, въ которыя я творилъ. *Когда я творилъ, я видѣлъ передъ собою только Пушкина* [3]). Ничто мнѣ были всѣ толки... мнѣ дорого было его вѣчное и непреложное слово. *Ничего не предпринималъ, ничего не писалъ я безъ его совѣта* [3]). Все, что есть во мнѣ хорошаго, всѣмъ этимъ я обязанъ ему. И теперешній трудъ мой [4]) есть его созданіе. Онъ взялъ съ меня клятву, чтобы я писалъ, и ни одна строка его [5]) не писалась безъ того, чтобы онъ не являлся въ то время очамъ моимъ. Я тѣшилъ себя мыслью, какъ будетъ доволенъ онъ, угадывалъ, что будетъ нравиться ему, и это было моею высшею и первою наградою. Теперь этой награды нѣтъ впереди! Что трудъ мой? Что теперь жизнь моя?..»

Нѣкоторыя преувеличенія въ этихъ письмахъ (напр.,

---

1) Курсивъ мой.
2) „Мертв. Души".
3) Курсивъ мой.
4) „Мертв. Души".
5) Т.-е.—труда („Мертв. Д.").

«*ни одна* строка...», «ничего не писалъ безъ его совѣта...» и пр.) принадлежатъ къ числу тѣхъ оборотовъ рѣчи, какіе вообще были свойственны стилю Гоголя (гипербола), и отнюдь не должны быть поставляемы въ данномъ случаѣ въ упрекъ Гоголю. Они, не заключая въ себѣ полной фактической правды, отлично и вѣрно выражаютъ общую душевную правду того, что почувствовалъ Гоголь, когда узналъ о смерти Пушкина. Въ самомъ дѣлѣ, Пушкинъ, эта, по выраженію Тютчева, «Россіи первая любовь», былъ и для Гоголя въ своемъ родѣ «первою и единственною любовью». Если Гоголь кого-либо любилъ глубокой, радостной, трогательной любовью, если онъ кого-либо «обожалъ», то это только Пушкина, и слова: «моя жизнь, мое высшее наслажденіе умерло съ нимъ»—вылились прямо изъ сердца и говорятъ несомнѣнную правду. Нетрудно представить себѣ, какую пустоту ощутилъ Гоголь, вмѣстѣ со всей образованной Россіей, когда вдругъ не стало Пушкина. И спустя два года съ-лишнимъ, въ сентябрѣ 1839 г., находясь уже въ Москвѣ, Гоголь восклицалъ (въ письмѣ къ Плетневу, отъ 27 сентября 1839 г.): «Какъ странно! Боже, какъ странно! Россія безъ Пушкина! Я пріѣду въ Петербургъ—и Пушкина нѣтъ!..»—Эта роковая, эта незамѣнимая утрата была для Гоголя несомнѣнно чувствительнѣе, чѣмъ для другихъ: онъ духовно осиротѣлъ, онъ потерялъ единственнаго человѣка, авторитету котораго онъ добровольно и радостно подчинялся. Это *подчиненіе* составляло насущную потребность душевной жизни и самаго творчества Гоголя. Едва ли ошибемся мы, если скажемъ, что къ числу большихъ несчастій Гоголя принадлежало и то, что онъ слишкомъ рано и слишкомъ живо почувствовалъ въ себѣ необыкновеннаго человѣка, что онъ безповоротно убѣдился въ превосходствѣ своего ума, въ своей несомнѣнной геніальности. На этомъ главнымъ образомъ и основывался непріятный, самонадѣяный наставническій тонъ Гоголя и его претензіи поучать ближнихъ, управлять ихъ умами и

сердцами, навязывать имъ свой духовный авторитетъ. Для такой натуры, для такого характера, какъ Гоголь, въ высокой степени было важно сознаніе, что есть другой великій человѣкъ, другой геній, у котораго можно многому поучиться, котораго вліяніе благотворно. И Пушкинъ дѣйствительно былъ для Гоголя такою ограничивающею, сдерживающею силой, своего рода школой.

Сохранившіяся письма Гоголя къ Пушкину и нѣсколько записокъ послѣдняго даютъ наглядное представленіе объ участіи Пушкина къ работѣ Гоголя, а равно и о томъ, какъ послѣдній дорожилъ этимъ участіемъ. Нѣкоторыя выдержки будутъ здѣсь не лишними.

Вотъ письмо Гоголя отъ 7-го окт. 1835 г.: «Рѣшаюсь писать къ вамъ самъ; просилъ прежде Наталью Николаевну, но до сихъ поръ не получилъ извѣстія. Пришлите, прошу васъ убѣдительно, если вы взяли съ собою, мою комедію [1]), которой въ вашемъ кабинетѣ не находится и которую я принесъ вамъ для замѣчаній... Сдѣлайте милость, пришлите скорѣе и сдѣлайте наскоро хоть сколько-нибудь главныхъ замѣчаній.—Началъ писать «Мертвыхъ Душъ». Сюжетъ растянулся на предлинный романъ и, кажется, будетъ сильно смѣшонъ. Но теперь остановилъ его на третьей главѣ. Ищу хорошаго ябедника, съ которымъ бы можно коротко сойтись. Мнѣ хочется въ этомъ романѣ показать хоть съ одного боку всю Русь.— Сдѣлайте милость, дайте какой-нибудь сюжетъ, хоть какой-нибудь, смѣшной или несмѣшной, но русскій чисто анекдотъ. Рука дрожитъ написать тѣмъ временемъ комедію. Если жъ сего не случится, то у меня пропадетъ даромъ время, и я не знаю, что дѣлать тогда съ моими обстоятельствами... Сдѣлайте (же) милость, дайте сюжетъ; духомъ будетъ комедія изъ пяти актовъ, и клянусь—куда смѣшнѣе чорта! Ради Бога, умъ и желудокъ мой оба голодаютъ. И пришлите «Женитьбу». Обнимаю васъ и цѣлую и желаю обнять скорѣе лично».

[1]) „Женитьба“.

Въ другомъ письмѣ (декабря 1834 г.) онъ жалуется Пушкину на придирки цензуры къ нѣкоторымъ мѣстамъ «Записокъ сумасшедшаго», а потомъ говоритъ: «Жаль однако, что мнѣ не удалось видѣться съ вами. Я посылаю вамъ предисловіе [1]); сдѣлайте милость, просмотрите, и если что, то поправьте и перемѣните тутъ же чернилами...» Посылая Пушкину вышедшія изъ печати «Арабески», Гоголь пишетъ, что нарочно посылаетъ два экземпляра: «одинъ экземпляръ для васъ, а другой разрѣзанный для меня. Вы читайте мой и сдѣлайте милость, возьмите карандашъ въ ваши ручки и никакъ не останавливайте негодованія при видѣ ошибокъ, но тотъ же часъ ихъ всѣхъ налицо. Мнѣ это очень нужно».

Записки Пушкина къ Гоголю прибавляютъ нѣсколько чертъ, рисующихъ живое, сердечное отношеніе великаго поэта къ начинающему писателю. Въ одной (25 авг. 1831 г.) онъ заранѣе поздравляетъ автора «Вечеровъ на хуторѣ» съ будущимъ успѣхомъ этой книги («поздравляю васъ съ первымъ вашимъ торжествомъ—съ фырканьемъ наборщиковъ и изъясненіями фактора... [2]). Въ другой запискѣ дѣло идетъ о «Невскомъ проспектѣ»: «Прочелъ съ удовольствіемъ. Кажется, все можетъ быть пропущено. Секуцію жаль выпустить: она, мнѣ кажется, необходима для эффекта вечерней мазурки. Авось Богъ вынесетъ! Съ Богомъ!» Въ дневникѣ Пушкина находимъ (7 апр. 1833 г.): «Вчера Гоголь читалъ мнѣ сказку, какъ Иванъ Ивановичъ поссорился съ Иваномъ Никифоровичемъ. Очень оригинально и очень смѣшно.—Гоголь, по моему совѣту, началъ исторію русской критики». Въ октябрѣ 1835 года Пушкинъ пишетъ (изъ Михайловскаго) Плет-

---

[1]) Къ „Арабескамъ“, гдѣ были помѣщены „Записки сумасш.“.

[2]) Отвѣтъ на письмо Гоголя отъ 21 авг., гдѣ Гоголь между прочимъ говоритъ: „любопытнѣе всего было мое свиданіе съ типографіею: только что я просунулся въ двери, наборщики, завидя меня, давай каждый фыркать и прыскать себѣ въ руку, отворачиваясь къ стѣнкѣ...“

неву по поводу изданія альманаха, для котораго Гоголь далъ «Коляску»: «Спасибо, великое спасибо Гоголю за его «Коляску», въ ней альманахъ далеко можетъ уѣхать; но мое мнѣніе—даромъ «Коляски» не брать, а установить ей цѣну. Гоголю нужны деньги» Въ письмѣ къ женѣ (изъ Москвы, 6 мая 1836 г.) Пушкинъ между прочимъ даетъ ей слѣдующее порученіе: «Пошли ты за Гоголемъ и прочти ему слѣдующее: видѣлъ я актера Щепкина, который ради Христа проситъ его пріѣхать въ Москву, прочесть Ревизора. Безъ него актерамъ не спѣться. Онъ говоритъ, комедія будетъ карикатурна и грязна (къ чему Москва всегда имѣла поползновеніе). Съ моей стороны, я тоже ему совѣтую: не надобно, чтобъ Ревизоръ упалъ въ Москвѣ, гдѣ Гоголя болѣе любятъ, нежели въ Петербургѣ».

Если бы Пушкинъ не умеръ такъ рано, и если бы дружескія связи между двумя нашими величайшими поэтами продлились на болѣе продолжительное время, то, безъ сомнѣнія, разсѣялась бы добрая доля той темноты, которою былъ объятъ великій умъ Гоголя.

Прежде всего Гоголь вынесъ бы изъ «школы» Пушкина уваженіе къ великимъ и невеликимъ дѣятелямъ европейской мысли и сочувствіе прогрессу общечеловѣческаго просвѣщенія. Онъ научился бы у Пушкина понимать и цѣнить великія культурныя и интеллектуальныя блага, пріобрѣтенныя передовыми народами Европы цѣною многовѣкового труда и борьбы. И, быть можетъ, онъ сдѣлался бы, если и не отличнымъ, то хоть хорошимъ «ученикомъ» цивилизаціи...

V.

Въ противоположность Гоголю, Пушкинъ былъ отличный «ученикъ». Человѣкъ съ широкимъ образованіемъ и большою начитанностью (въ особенности въ литературахъ французской и англійской[1]), Пушкинъ не переставалъ

[1]) Нѣмецкую онъ зналъ меньше. Но все-таки Гёте и Шиллеръ были достаточно извѣстны ему.

слѣдить за движеніемъ умовъ въ Европѣ и въ своихъ сочиненіяхъ, журнальныхъ статьяхъ, замѣткахъ, дневникѣ и письмахъ обнаруживаетъ рѣдкую *любознательность* и *отзывчивость* живого и просвѣщеннаго ума. Пушкинъ былъ не только первоклассный писатель, но и *первоклассный читатель*—качество, для писателя весьма важное. Онъ любилъ книгу и оставилъ послѣ себя хорошо подобранную библіотеку. Онъ никогда не сказалъ бы, какъ это сдѣлалъ Гоголь, что «въ извѣстныя эпохи одна хорошая книга достаточна для наполненія всей жизни человѣка». Къ числу характерныхъ признаковъ такихъ свѣтлыхъ умовъ, жаждущихъ знанія, стремящихся «въ просвѣщеніи стать съ вѣкомъ наравнѣ», принадлежитъ и то, что они живо интересуются разнообразными какъ первостепенными, такъ и второстепенными, и посредственными произведеніями ума человѣческаго, и хорошо знаютъ, что иная, даже плохая, книга можетъ очень и очень пригодиться для работающаго ума, если не какъ стимулъ мысли, то, по крайней мѣрѣ, какъ матеріалъ.

Но особливо ярко проявляется коренное различіе между умомъ Пушкина и умомъ Гоголя на ихъ отношеніи къ одному весьма важному для русскаго писателя предмету изученія, который для Пушкина представлялъ высшій и живой интересъ, а Гоголю казался нестерпимо скучнымъ и совсѣмъ нелюбопытнымъ. Это не что иное, какъ *русская исторія*. Пушкинъ уже въ первой половинѣ 20-хъ годовъ, работая надъ «Борисомъ Годуновымъ», изучалъ русскую исторію, и не только по Карамзину, но и по источникамъ. Затѣмъ, подготовительныя работы для исторіи Петра Великаго, «Исторія Пугачевскаго бунта», наброски критической статьи объ «Исторіи русскаго народа» Полевого, попытка объясненія «Слова о полку Игоревѣ», наконецъ необыкновенно умное письмо къ Чаадаеву (19 окт. 1836 г.)— все это служитъ достаточнымъ доказательствомъ интереса, вниманія и любви Пушкина къ нашему историческому прошлому. Иначе и не могло быть у писателя, который

явился первымъ выразителемъ нашего національнаго самосознанія. Добрая доля художественныхъ и вообще умственныхъ интересовъ Пушкина была направлена на историческое прошлое русскаго народа и государства. Это и есть единственный вѣрный путь для писателя, который хочетъ понимать настоящее и прозрѣвать въ будущее.

Гоголь не только не шелъ этимъ путемъ, но, повидимому, и не могъ бы, если бы даже и захотѣлъ, усвоить себѣ ясное и широкое *историческое* воззрѣніе на ходъ вещей въ Россіи.

Вотъ что профессоръ всеобщей исторіи, который «взошелъ на каѳедру неузнанный и неузнанный сошелъ съ нея» (письмо къ Погодину отъ 6 дек. 1835 г.), писалъ въ 1834 г. Максимовичу: «... Брадке[1]) пишетъ мнѣ, что не угодно ли мнѣ взять каѳедру русской исторіи, что сіе-де прилично занятіямъ моимъ, тогда какъ онъ самъ обѣщалъ мнѣ, бывши здѣсь, что всеобщая исторія не будетъ занята до самаго моего пріѣзда, хотя бы это было черезъ годъ, а теперь вѣрно ее отдали этому Цыху[2]), котораго принесло какъ нарочно. Право, странно: они воображаютъ, что различія предметовъ это такая маловажность и что кто читаетъ словесность, тому весьма легко преподавать математику или врачебную науку[3]). *Я съ ума сойду, если мнѣ дадутъ русскую исторію...*» (курсивъ мой). Въ другомъ письмѣ къ Максимовичу (10 іюня того же 1834 г.) Гоголь опять возвращается къ тому же вопросу: «тебя удивляетъ, почему меня такъ останавливаетъ русская исторія. Ты очень страненъ и говоришь еще о себѣ, что ты рѣшился же взять словесность. Вѣдь для этого у тебя было

---

[1]) Кураторъ кіевскаго учебнаго округа. Дѣло идетъ о назначеніи Гоголя профессоромъ въ кіевскій университетъ.

[2]) Профессоръ харьковскаго университета.

[3]) Въ то доброе старое время такъ и было: тотъ же Максимовичъ, къ которому адресовано это письмо, по спеціальности естественникъ, профессоръ *ботаники* въ московскомъ университетѣ, былъ переведенъ въ кіевскій на каѳедру русской словесности.

желаніе, а у меня нѣтъ. *Чортъ возьми, если бы я не согласился взять скорѣе ботанику или патологію, нежели русскую исторію*[1]). Если бы это было въ Петербургѣ, я бы, можетъ быть, взялъ ее, потому что здѣсь я готовъ, пожалуй, *два раза въ недѣлю на два часа отдать себя скукѣ...*» Эти выдержки вполнѣ выясняютъ извѣстное выраженіе въ «Авторской исповѣди»: «у меня не было влеченія къ прошедшему», гдѣ имѣется въ виду именно историческое прошлое Россіи.

Это равнодушіе или даже отвращеніе Гоголя къ русской исторіи есть фактъ въ своемъ родѣ знаменательный и, какъ почти все у Гоголя, не лишенный своей психологической загадочности.

Если бы Гоголь былъ писатель второстепенный или же только мѣстный, областной, т.-е. если бы онъ былъ только авторомъ «Вечеровъ на хуторѣ» и «Тараса Бульбы», то указанное отношеніе его къ русской исторіи не представляло бы собою ничего особливо-страннаго. Но Гоголь, во-первыхъ, писатель-художникъ первой величины, великій геній искусства; во-вторыхъ, онъ—писатель, по своему національному укладу, общерусскій (о чемъ сейчасъ будетъ рѣчь у насъ); наконецъ, въ-третьихъ, онъ, среди нашихъ поэтовъ, является по преимуществу пѣвцомъ Россіи, какъ цѣлаго, какъ государства, и поэтомъ общерусской стихіи. Вспомнимъ: «... какіе звуки болѣзненно лобзаютъ и стремятся въ душу, и вьются около моего сердца? *Русь! чего же ты хочешь отъ меня? Какая непостижимая связь таится между нами?* Что̀ глядишь ты такъ, и зачѣмъ *все, что̀ ни есть въ тебѣ, обратило на меня полныя ожиданія очи?...*» («Мертвыя Души», I, гл. XI). Да, между этимъ загадочнымъ великимъ человѣкомъ и Русью, именно Русью, какъ національно-объединеннымъ (общерусскимъ языкомъ и государственностью) цѣлымъ, дѣйствительно «таилась» «непостижимая связь», и «полныя ожиданія

---

[1]) Курсивъ мой.

очи» были въ самомъ дѣлѣ обращены на геніальнаго художника. Вспомнимъ еще: «не такъ ли и ты, Русь, что̀ бойкая тройка, несешься?..» и т. д. «...Русь, куда же несешься ты? Дай отвѣтъ. Не даетъ отвѣта. Чуднымъ звономъ заливается колокольчикъ; гремитъ и становится вѣтромъ разорванный въ куски воздухъ; летитъ мимо все, что̀ ни есть на землѣ, *и косясь посторaниваются и даютъ ей дорогу другіе народы и государства*» (въ концѣ I части «Мерт. Душъ».) Это—поэтическое созерцаніе быстраго историческаго роста и движенія Руси—*какъ государства, какъ европейской державы и какъ національнаго (общерусскаго) цѣлаго.* Спрашивается: какой другой изъ нашихъ великихъ поэтовъ *такъ* воспѣвалъ *эту* Русь? У кого изъ нихъ вырывались изъ души, при созерцаніи *этой Руси,* такіе захватывающіе, такіе проникновенные звуки?

Ниже, въ особой главѣ, мы покажемъ, что самое творчество Гоголя, за вычетомъ «Вечеровъ на хуторѣ», «Тараса Бульбы» и отчасти «Старосвѣтскихъ помѣщиковъ», «Ссоры Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ» и нѣкоторыхъ другихъ вещей, гдѣ воспроизведены малорусская жизнь, нравы и національный складъ малороссовъ, главнымъ образомъ было направлено на воспроизведеніе общерусской стихіи, и важнѣйшіе монументальные типы, созданные творцомъ «Ревизора» и «Мертвыхъ Душъ», являются *національными общерусскими* типами.

Нелишне вспомнить здѣсь и то, что Гоголь, не довольствуясь высокимъ произведеніемъ великаго общерусскаго поэта, возомнилъ себя чѣмъ-то въ родѣ пророка Руси, учителемъ жизни и морали... Какъ таковой (оставляя въ сторонѣ вопросъ о достоинствѣ и значеніи его проповѣди), онъ является прямымъ предшественникомъ нашихъ «морализующихъ» писателей, художниковъ-проповѣдниковъ, въ ряду которыхъ первыя мѣста принадлежатъ конечно Достоевскому и Л. Н. Толстому. И здѣсь, на этомъ поприщѣ, Гоголь явственно обнаруживается—какъ дѣятель *общерусскій,* какъ начинатель одного изъ направленій, при-

надлежащихъ спеціально къ общерусской умственной жизни. Сейчасъ увидимъ, что и какъ человѣкъ, какъ *личность*, Гоголь былъ гораздо больше общеруссъ, чѣмъ малороссъ.

И вотъ оказывается, что этотъ общерусскій писатель и моралистъ одинъ изъ основателей общерусской литературы и нашего общенаціональнаго самосознанія, совсѣмъ не интересовался историческимъ прошлымъ того цѣлаго, которому онъ принадлежалъ и служилъ, съ которымъ былъ связанъ тѣсными узами духовнаго сродства.

Противорѣчіе, здѣсь заключающееся, станетъ яснѣе, если примемъ во вниманіе слѣдующее.

Начиная отъ античной древности и кончая новѣйшимъ временемъ, всѣ великіе общенаціональные поэты такъ или иначе интересовались историческимъ прошлымъ своей страны и обращались къ нему если не для того, чтобы черпать оттуда матеріалъ и сюжеты для своего творчества, то, по крайней мѣрѣ, для расширенія своего кругозора, для саморазвитія въ духѣ національнаго самосознанія. Эсхилъ, Софоклъ и Эврипидъ у грековъ, Шекспиръ съ его трагедіями и драматическими хрониками изъ англійской исторіи, Вальтеръ-Скоттъ съ его романами изъ той же области являются прямыми и наиболѣе яркими представителями національно-историческихъ интересовъ и задачъ въ искусствѣ. Но, можетъ быть, еще болѣе сильнымъ подтвержденіемъ мысли, здѣсь развиваемой, служитъ то, что такъ или иначе отдаютъ дань исторіи своей страны также и тѣ великіе поэты, которые по характеру своего генія, по особенностямъ дарованія, казалось бы, вовсе не призваны къ этому. Они не могутъ создать въ этой области великихъ, первостепенныхъ произведеній; они даютъ что̀ могутъ, какъ Гёте далъ Германіи «Ганца-фонъ-Берлихингена», Шиллеръ — «Валленштейна». Но во всякомъ случаѣ, вносятъ ли они въ лабораторію своего творчества сюжеты изъ историческаго прошлаго своей страны или нѣтъ, они изучаютъ это прошлое, иногда прямо высту-

пая съ историческими трудами (Шиллеръ, Пушкинъ), всегда воспитывая, какъ бы выращивая въ себѣ, на почвѣ этихъ изученій, тотъ національный геній, лучшими представителями котораго они являются.

Великіе поэты всегда связаны съ своимъ національнымъ цѣлымъ тою дѣйствительно загадочною связью, которую Гоголь назвалъ «непостижимою» и постиженіе которой составляетъ одну изъ задачъ психологіи творчества.

Отъ этой чисто-научной задачи слѣдуетъ отличать ту, которую ставитъ себѣ самъ субъектъ, стремящійся къ самосознанію. Истинный поэтъ всегда чувствуетъ свою какъ бы органическую связь съ національнымъ цѣлымъ, и чѣмъ выше его дарованіе, чѣмъ шире его поэтическій кругозоръ и глубже захватъ его мысли, тѣмъ живѣе и явственнѣе чувствуетъ онъ свое національное значеніе и призваніе. Но иное дѣло—чувствовать, а иное—сознавать и понимать. Чувство, о которомъ мы говоримъ, есть фактъ или процессъ, принадлежащій къ обширной сферѣ ирраціональныхъ, «стихійныхъ» процессовъ психики человѣческой. Его сознаваніе и пониманіе субъектомъ—это уже другой фактъ или процессъ, принадлежащій къ той особой сферѣ психики, гдѣ совершается дѣятельность, превращающая процессы ирраціональные въ раціональные, въ осмысленные, въ продукты самосознанія и высшей мысли. Успѣшность этой дѣятельности зависитъ отъ культуры ума, отъ знаній, отъ упорядоченія этихъ знаній, отъ умственной дисциплины. Этимъ путемъ субъектъ (въ данномъ случаѣ поэтъ) и приходитъ къ самоопредѣленію, къ уясненію себѣ самому своего настоящаго призванія, къ яснымъ отвѣтамъ на вопросы: кто я? къ какому національному цѣлому принадлежу я въ сферѣ своего творчества? каково это цѣлое? откуда и куда идетъ оно, и какое мѣсто должно принадлежать ему въ болѣе обширномъ цѣломъ—въ человѣчествѣ?

Эти вопросы ставятся болѣе или менѣе правильно только при сильномъ свѣтѣ мысли, при хорошей культурѣ ума.

VI.

Гоголь ставилъ эти вопросы и пытался рѣшить ихъ по-своему, природными силами своего великаго ума, исходя, съ одной стороны, изъ непосредственнаго чувства, а съ другой—опираясь на геніальную интуицію и на художественныя созерцанія необычайной глубины и силы.

Какъ онъ дѣлалъ это и къ какимъ результатамъ приходилъ, мы постараемся разсмотрѣть и посильно освѣтить въ слѣдующей главѣ, гдѣ исходною точкою послужитъ намъ изученіе той, въ высокой степени любопытной, стороны творчества Гоголя, которую можно назвать стихійнымъ тяготѣніемъ всѣхъ художественныхъ стремленій и помысловъ Гоголя къ Россіи, какъ единственному объекту его творчества, и поэтическимъ созерцаніемъ Руси изъ прекраснаго далека.

Настоящую же главу закончимъ подведеніемъ итога всему сказанному объ умѣ Гоголя.

1) Гоголь былъ геніальный самородокъ, великій умъ-талантъ, одаренный необычайными силами художественно-образнаго мышленія. Насколько велики были эти силы, видно изъ того, что онъ могъ въ своемъ творчествѣ обходиться безъ тѣхъ стимуловъ, которые являются результатомъ общенія съ другими умами, т.-е. безъ изученія великихъ поэтовъ и мыслителей. Разумѣется, отсутствіе этихъ стимуловъ не могло быть абсолютнымъ: это былъ только минимумъ общенія. Но для Гоголя было достаточно этого минимума, чтобы возбудить его художественную мысль; достаточно намека, случайно занесенной искры, чтобы воспламенить его воображеніе и вызвать вдохновенную работу его ума.

2) Умъ Гоголя былъ по преимуществу *творческій*, особливо приспособленный къ широкимъ художественнымъ обобщеніямъ, къ созданію большихъ, національныхъ и общечеловѣческихъ *типовъ*. Вмѣстѣ съ тѣмъ мы видимъ въ немъ большую силу *сознательно-критической мысли*,

подвергающей строгой критикѣ результаты его же собственнаго творчества. Его художественная работа запечатлѣна глубокою вдумчивостью, движется осмотрительно, съ постоянною оглядкой на пройденный путь, съ явнымъ, сознательнымъ *самообладаніемъ* художника. Гоголь, если можно такъ выразиться, старался обуздывать порывы своихъ вдохновеній, дисциплинировать свое творческое воображеніе, и такимъ путемъ онъ восполнялъ недостатокъ культуры своего ума, пробѣлы своего художническаго воспитанія. Онъ хорошо понималъ, что ему слѣдуетъ воздерживаться отъ излишней роскоши въ творчествѣ, отъ разгула воображенія, что большія умственныя силы нуждаются въ большой дисциплинѣ. Иначе онъ явился бы въ искусствѣ дикаремъ, какимъ Шекспиръ казался Вольтеру. Поистинѣ изумительно это самообладаніе художника, эта разсудительность въ творчествѣ поэта, который былъ одаренъ такой подавляющей, бьющей черезъ край силою вдохновенія,—художника, въ головѣ котораго столпилось столько яркихъ образовъ, столько художественныхъ идей, столько глубокихъ созерцаній... Всю эту роскошь мысли нужно было упорядочить, чтобы претворить ее въ созданія «твердыя», «сущныя» и «совершенныя въ высокой трезвости духа». Гоголь достигалъ этого природною *критическою* силою своего ума.

3) Творческая и критическая работа этого художника была громадна. Иначе говоря, громадна была *затрата умственныхъ силъ*. Но, къ сожалѣнію, крайне слаба была другая его работа—какъ «ученика», т.-е. работа *накопленія умственныхъ силъ*. Его огромный умъ слишкомъ много тратилъ и слишкомъ скудно питался. Оттуда—недостатокъ свѣта, отсутствіе широкихъ идей, принадлежащихъ къ величайшимъ умственнымъ благамъ, которыя выработало человѣчество, — тѣхъ идей, которыя, не принимая непосредственнаго участія въ самомъ процессѣ художественнаго творчества, имѣютъ однако огромное значеніе для искусства, ибо питаютъ и просвѣщаютъ умъ худож-

ника. «Лѣнивый ученикъ», Гоголь довольствовался крохами этой пищи...

Онъ не зналъ, что̀ значитъ настоящая умственная пища, какой приливъ душевныхъ силъ является слѣдствіемъ общенія съ великими умами, какъ освѣжается вся душа и окрыляется мысль отъ расширенія умственныхъ горизонтовъ. Ему не дано было испытать животворящихъ радостей мысли, освободившейся отъ оковъ старыхъ формъ и идей и бодро стремящейся впередъ вмѣстѣ съ человѣчествомъ,—высокихъ радостей созерцанія безконечности въ стремленіяхъ ума и идеала.

Но истинному художнику не можетъ быть чуждо нѣкоторое, хотя бы смутное и робкое, чаяніе этихъ радостей мысли. Оно не было вполнѣ чуждо и Гоголю. Таясь въ глубинѣ его художественныхъ созерцаній, оно могло бы освободиться и взыграть, если бы продлился тотъ «чудный сонъ», который Гоголь «видѣлъ въ своей жизни»: просвѣщающее и облагораживающее вліяніе Пушкина со всею широтою его возрѣній, со всею глубиною его общечеловѣческихъ сочувствій, со всею лучезарностью и движеніемъ его мысли...

Глава III.

Гоголь и Россія.—„Русь изъ прекраснаго далёка“.

I.

Въ предыдущей главѣ мы указали на русское національное призваніе Гоголя, которое такъ странно совмѣщалось у него съ равнодушіемъ или даже отвращеніемъ къ изученію историческаго прошлаго той «Руси», пѣвцомъ которой онъ былъ по преимуществу. Отмѣтить это противорѣчіе намъ нужно было для характеристики ума Гоголя.

Въ настоящей главѣ мы хотѣли бы раскрыть *психологію отношеній Гоголя къ Руси, какъ цѣлому.* Насъ интересуютъ здѣсь внутренняя, интимная сторона національно-

русскаго призванія Гоголя и отраженіе различныхъ душевныхъ процессовъ, сюда относящихся, въ его мысли, въ его самосознаніи.

Этотъ вопросъ неразрывно связанъ съ исторіей главнаго труда Гоголя,—труда, которымъ онъ такъ блистательно оправдалъ свое призваніе великаго національнаго поэта Руси. Вотъ и посмотримъ, какими настроеніями, чувствами и мыслями сопровождалась работа надъ «Мертвыми Душами», заполнившая собою всю жизнь поэта съ половины 30-хъ годовъ и до самой смерти.

«Поэма» была начата въ 1835 году, задуманная на сюжетъ, данный Пушкинымъ, въ видѣ большого сатирическаго произведенія, въ которомъ должна была отразиться, «хоть съ одного боку», *вся Россія* [1]).

По мѣрѣ того какъ работа подвигалась впередъ, и планъ «Одиссеи» Чичикова выяснялся и развертывался въ головѣ великаго «хохла»,—этотъ «хохолъ» все живѣе чувствовалъ и яснѣе сознавалъ, что онъ дѣлаетъ великое дѣло, которое будетъ имѣть огромное всероссійское національное значеніе. Въ этой мысли онъ укрѣплялся съ каждымъ шагомъ впередъ и не стѣснялся выражать ее въ письмахъ. Такъ, уже въ іюнѣ 1836 года, когда работа была только въ началѣ, онъ писалъ Жуковскому: «... Мнѣ ли не благодарить Пославшаго меня на землю! *Какихъ высокихъ, какихъ торжественныхъ ощущеній, невидныхъ, незамѣтныхъ для свѣта, исполнена жизнь моя! Клянусь, я что-то сдѣлаю, чего не дѣлаетъ обыкновенный человѣкъ* [2]). Львиную силу чувствую въ душѣ своей и замѣтно слышу переходъ свой изъ дѣтства, проведеннаго въ школьныхъ занятіяхъ, въ юношескій возрастъ...». Далѣе говорится, что все, написанное имъ доселѣ, это только—

---

[1]) „Началъ писать „Мертвыхъ Душъ". Сюжетъ растянулся на предлинный романъ и, кажется, будетъ сильно смѣшонъ... Мнѣ хочется въ этомъ романѣ показать хотя съ одного боку всю Русь". (Письмо къ Пушкину отъ 7-го октября 1835 г.).

[2]) Курсивъ мой.

ученическая проба пера, незрѣлые опыты, и что настоящее, великое дѣло—впереди. Для совершенія этого дѣла *ему необходимо быть, какъ можно дольше, внѣ отечества*, на чужбинѣ, гдѣ онъ отдохнетъ душой отъ тѣхъ непріятностей и огорченій, которыя онъ испыталъ на родинѣ и которыя въ концѣ-концовъ послужатъ ему на пользу, въ интересахъ его внутренняго воспитанія. «Для меня нѣтъ жизни внѣ моей жизни (читаемъ здѣсь), и нынѣшнее мое удаленіе изъ отечества, оно послано свыше, тѣмъ же Великимъ Провидѣніемъ, ниспославшимъ все на воспитаніе мое...» (Письмо изъ Гамбурга отъ 28/16 іюня 1836 г.).

Какъ бы мы ни относились къ вопросу объ «искренности» Гоголя, но мѣста въ письмахъ, въ родѣ приведеннаго, гдѣ онъ говоритъ о своемъ веспитаніи для великаго подвига, объ участіи Промысла, о необходимости для него далекихъ путешествій и жизни за границею и т. д., дышатъ несомнѣнною правдой: въ нихъ своеобразно выразилось то, что въ самомъ дѣлѣ происходило въ его душѣ, когда совершался ростъ его духа и генія, и перековывались въ поэтическія созерцанія и художественные образы различныя впечатлѣнія, вынесенныя изъ Россіи. Удалиться отъ непосредственнаго общенія съ объектами этихъ впечатлѣній, избавиться такимъ путемъ отъ чувствъ личнаго раздраженія и горечи было для Гоголя въ данное время насущною потребностью художника-мыслителя. Въ письмѣ къ Погодину (отъ 22/10 сент. того же 1836 г.) онъ говоритъ между прочимъ: «...на Руси есть такая изрядная коллекція гадкихъ рожъ, что невтерпежъ мнѣ пришлось глядѣть на нихъ. Даже теперь плевать хочется, когда объ нихъ вспомню. Теперь передо мною чужбина, вокругъ меня чужбина...». Онъ живо чувствовалъ и сознавалъ, что для самаго успѣха его дѣла ему необходима «чужбина», какъ среда, гдѣ тягостныя и безотрадныя впечатлѣнія, вынесенныя изъ Россіи, волшебною силою вдохновенія превращались въ художественные образы, а горечь, раздраже-

ніе и весь порядокъ скорбныхъ чувствъ смѣнялись тѣми «высокими, торжественными ощущеніями», о которыхъ говоритъ онъ въ вышеприведенной выдержкѣ изъ письма къ Жуковскому. Въ этомъ же письмѣ говорится: «Долѣе, какъ можно долѣе буду въ чужой землѣ. И хотя мысли мои, мое имя, мои труды будутъ принадлежать Россіи, но самъ я, но бренный составъ мой будетъ удаленъ отъ нея».

Работу надъ «Мертвыми Душами», начатую въ Россіи, Гоголь возобновилъ въ Швейцаріи, въ Веве, о чемъ узнаемъ изъ письма къ Данилевскому (изъ Лозанны, отъ 23 окт. 1836 г.) [1]) и изъ письма къ Жуковскому отъ 12 ноября того же года изъ Парижа: «Осень въ Веве, наконецъ, настала прекрасная, почти лѣто. У меня въ комнатѣ сдѣлалось тепло, и я принялся за «Мертвыхъ Душъ», которыхъ было началъ въ Петербургѣ. Все начатое передѣлалъ я вновь, обдумалъ болѣе весь планъ и теперь веду его спокойно, какъ лѣтопись... *Если совершу это твореніе такъ, какъ нужно его совершить, то... какой огромный, какой оригинальный сюжетъ! Какая разнообразная куча! Вся Русь явится въ немъ!..»* [2]).

Работа продолжалась въ Парижѣ. „«Мертвыя» текутъ живо, свѣжѣе и бодрѣе, чѣмъ въ Веве (читаемъ въ томъ же письмѣ), и мнѣ совершенно кажется, какъ будто я въ Россіи: передо мною все наше, наши помѣщики, наши чиновники, наши офицеры, наши мужики, наши избы,— словомъ, вся православная Русь. Мнѣ даже смѣшно, какъ подумаю, что я пишу «Мертвыхъ Душъ» въ Парижѣ... *Огромно велико мое твореніе* [3]), и не скоро конецъ его. Еще возстанутъ противъ меня новыя сословія и много разныхъ господъ; но что жъ мнѣ дѣлать! Уже судьба моя враждовать съ моими земляками. *Терпѣніе!* [3]) *Кто-то не-*

---

[1]) „Я сдѣлался болѣе русскимъ, чѣмъ французомъ, въ Веве, и это все произошло отъ того, что я началъ здѣсь писать и продолжать моихъ „Мертвыхъ Душъ“, которыхъ было оставилъ...“.

[2]) Курсивъ мой.

[3]) Курсивъ Гоголя.

зримый пишетъ передо мной могущественнымъ жезломъ. Знаю, что мое имя послѣ меня будетъ счастливѣе меня, и потомки тѣхъ же земляковъ моихъ, можетъ быть, съ глазами влажными отъ слезъ, произнесутъ примиреніе моей тѣни" [1]).

Этотъ мотивъ—«вражда» съ «земляками», тягота и горечь русскихъ впечатлѣній и отношеній, откуда — живая потребность быть подальше отъ нихъ и жить «на чужбинѣ», гдѣ эти впечатлѣнія претворяются въ художественныя созерцанія Руси и гдѣ такимъ образомъ должно осуществиться великое національное призваніе поэта,— этотъ мотивъ повторяется и на разные лады звучитъ въ послѣдующихъ письмахъ. Въ отвѣтъ на письмо Погодина, гдѣ послѣдній, сообщая о смерти Пушкина, звалъ Гоголя въ Россію, Гоголь пишетъ между прочимъ: «Ты приглашаешь меня ѣхать къ вамъ. Для чего? Не для того ли, чтобъ повторить вѣчную участь поэтовъ на родинѣ?.. Для чего я пріѣду? Не видалъ я развѣ дорогого сборища нашихъ просвѣщенныхъ невѣждъ?.. О, когда я вспомню нашихъ судей, меценатовъ, ученыхъ умниковъ, благородное наше аристократство, сердце мое содрогается при одной мысли! Должны быть сильныя причины, когда онѣ меня заставили рѣшиться на то, на что бы я не хотѣлъ рѣшиться...». Все живѣе чувствовалъ онъ и яснѣе сознавалъ невозможность для него ужиться среди непосредственныхъ впечатлѣній тогдашней русской дѣйствительности и, оставаясь въ Россіи, любить ее любовью художника-мыслителя и художника-гражданина. Только «на чужбинѣ», созерцая Русь «изъ прекраснаго далёка», онъ ощущалъ живое дѣйствіе этой любви, этого стихійнаго тяготѣнія къ своему національному цѣлому. И вотъ онъ пишетъ (въ томъ же письмѣ къ Погодину—изъ Рима отъ 30 марта 1837 г.): «Или я не люблю нашей неизмѣримой, нашей родной русской земли! Я живу около года въ чужой землѣ,

---

[1]) Курсивъ мой.

вижу прекрасныя небеса, міръ, богатый искусствами и человѣкомъ; но развѣ перо мое принялось описывать предметы, могущіе поразить всякаго? Ни одной строки не могъ я посвятить чуждому. *Непреодолимою цѣпью прикованъ я къ своему, и нашъ бѣдный, неяркій міръ нашъ, наши курныя избы, обнаженныя пространства предпочелъ я небесамъ лучшимъ, привѣтливѣе глядящимъ на меня. И я ли послѣ этого могу не любить своей отчизны?»* [1]).

Поселившись въ Римѣ, Гоголь весьма скоро приспособился къ условіямъ тамошней жизни и чувствовалъ себя въ вѣчномъ городѣ такъ хорошо, какъ нигдѣ. Климатъ, природа, памятники искусства, вся обстановка жизни, національный складъ итальянцевъ, пришедшійся ему такъ по душѣ,—все это располагало его къ созерцательнй жизни и творческой работѣ художника, и здѣсь онъ и написалъ (въ разное время) большую часть «Мертвыхъ Душъ». Если бы возможно было, онъ остался бы здѣсь навсегда. И съ этихъ поръ въ его письмахъ то и дѣло встрѣчаются восторженные гимны Италіи и въ особенности Риму, и почти всегда эти гимны сопровождаются выраженіемъ рѣзкаго, порою очень странно звучащаго отвращенія къ жизни въ Россіи. Вотъ одно изъ наболѣе характерныхъ мѣстъ этого рода: «Она (Италія)—моя! Никто въ мірѣ ея не отниметъ у меня. Я родился здѣсь. *Россія, Петербургъ, снѣга, подлецы, департаментъ, каѳедра, театръ—все это мнѣ снилось. Я проснулся опять на родинѣ* [1]) (письмо къ Жуковскому, отъ 30-го окт. 1837 г., изъ Рима). «О Римъ, Римъ! О Италія! Чья рука вырветъ меня отсюда!» восклицаетъ онъ въ письмѣ къ Данилевскому (2 февр. 1838 г.). Въ письмахъ этого времени встрѣчаются иногда довольно пространныя описанія Рима, его памятниковъ, храмовъ, часовенъ, процессій, карнавала и т. д., и по всему видно, что совокупность условій жизни и впечатлѣній Рима дѣйствовала самымъ благотворнымъ образомъ на творчество Го-

---

[1]) Курсивъ мой.

голя,—здѣсь посѣщали его лучшія его вдохновенія, здѣсь, вмѣстѣ съ чувствомъ отвращенія къ жизни въ Россіи, особливо ярко вспыхивала у него та любовь къ Россіи или то стихійное тяготѣніе къ ней, въ силу котораго почти всѣ его художническіе помыслы устремлялись къ ней одной. Изъ этого-то «прекраснаго далёка» и созерцалъ онъ Русь, которой и былъ посвященъ грандіозный замыселъ великой поэмы. Вспомнимъ: «...Русь! Русь! вижу тебя, изъ моего чуднаго, прекраснаго далёка тебя вижу. Бѣдно, разбросанно и непріятно въ тебѣ; не развеселятъ, не испугаютъ взоровъ дерзкія дива природы, вѣнчанныя дерзкими дивами искусства... Открыто-пустынно и ровно все въ тебѣ... Но какая же непостижимая, тайная сила влечетъ къ тебѣ? Почему слышится и раздается немолчно въ ушахъ твоя тоскливая, несущаяся по всей длинѣ и ширинѣ твоей, отъ моря до моря, пѣсня? Что въ ней, въ этой пѣснѣ? Что зоветъ и рыдаетъ, и хватаетъ за сердце? Какіе звуки болѣзненно лобзаютъ и стремятся въ душу, и вьются около моего сердца? Русь! чего же ты хочешь отъ меня? Какая непостижимая связь таится между нами?..» («Мертвыя Души», ч. I, гл. XI).

Это была прежде всего связь тяготѣнія великаго художника къ тому національному цѣлому, къ которому онъ принадлежалъ. Живѣе всего чувствовалъ онъ всю силу этого тяготѣнія въ минуты вдохновеній, въ часы творчества. А вдохновеніе наичаще приходило къ нему въ Римѣ, и тамъ дольше, чѣмъ гдѣ-либо, онъ могъ предаваться творческой работѣ, — неудивительно поэтому, что именно въ Римѣ онъ и любилъ Русь, предметъ его художническихъ замысловъ, его вдохновеній.

И онъ все болѣе и болѣе привязывался къ Италіи, къ Риму,—ему казалось, что это и есть его настоящая, его поэтическая родина, «родина души его», и будто только здѣсь онъ можетъ жить и творить... Такъ, въ письмѣ къ Балабиной (изъ Рима, 1838 г.) онъ между прочимъ говоритъ: «И когда я увидѣлъ, наконецъ, во второй разъ

Римъ, о, какъ онъ мнѣ показался лучше прежняго! Мнѣ казалось, что будто я увидѣлъ свою родину, въ которой нѣсколько лѣтъ не бывалъ я, а въ которой жили только мои мысли. Но нѣтъ, это все не то: не свою родину, но родину души своей я увидѣлъ, гдѣ душа моя жила прежде меня, прежде чѣмъ я родился на свѣтъ».

И тѣмъ невозможнѣе представлялась ему жизнь въ другихъ мѣстахъ, въ особенности же въ Россіи. На пути въ отечество, въ сентябрѣ 1839 г., онъ писалъ Жуковскому: «Если бы вы знали, чего мнѣ стоило бросить Римъ, хотя я знаю, что это не больше, какъ на два-три мѣсяца. Но клянусь, если бы мнѣ предлагали милліоны, и эти милліоны помножили еще на милліоны, и потомъ удесятерили эти милліоны, я бы не взялъ ихъ, если бы это было съ условіемъ оставить Римъ, хотя на полгода...». Гоголь въ этотъ пріѣздъ возвращался въ Россію впервые послѣ смерти Пушкина, и тѣмъ безотраднѣе казалась ему жизнь въ отечествѣ. Прибывъ въ Москву и собираясь въ Петербургъ, онъ писалъ Плетневу: «Боже, какъ странно! Россія безъ Пушкина! Я пріѣду въ Петербургъ—и Пушкина нѣтъ! Зачѣмъ вамъ теперь Петербургъ?.. Бросьте все, и ѣдемъ въ Римъ! О, если бы вы знали, какой тамъ пріютъ для того, чье сердце испытало утраты. Какъ наполняются тамъ незамѣстимыя пространства пустоты въ нашей жизни! Какъ близко тамъ къ небу! Боже, Боже, Боже! О мой Римъ! Прекрасный мой, чудесный Римъ!..».

Наступилъ 1840 годъ, а Гоголь все еще сидѣлъ въ Москвѣ. Какъ тяжело ему было въ Россіи, какъ болѣзненно-страстно рвался онъ въ Италію, въ «свой» Римъ, видно изъ слѣдующихъ мѣстъ его писемъ.

«Боже! Какъ я глупъ, какъ я ничтожно, несчастно-глупъ! И какое странное мое существованіе въ Россіи! (пишетъ онъ Жуковскому изъ Москвы въ началѣ 1840 года). Какой тяжелый сонъ! О, когда бъ скорѣе проснуться! Ничто, ни люди, встрѣча съ которыми принесла бы радость, ничто не въ состояніи возбудить меня. Нѣсколько

разъ брался я за перо писать вамъ и какъ деревянный стоялъ предъ столомъ: казалось, будто застыли всѣ нервы, находящіеся въ соприкосновеніи съ моимъ мозгомъ, и голова моя окаменѣла». Въ другомъ письмѣ къ Жуковскому (того же года) онъ опять восклицаетъ: «О Римъ мой, о мой Римъ! Ничего я не въ силахъ сказать... Но если бы меня туда перенесло теперь, Боже, какъ бы освѣжилась душа моя!» Около того же времени (25 января 1840 г.) въ письмѣ къ Погодину онъ говоритъ: «О, выгони меня, ради Бога и всего святого, вонъ въ Римъ, да отдохнетъ душа моя! Скорѣе, скорѣе! Я погибну...».

Наконецъ, ему удалось уѣхать. Въ декабрѣ того же 1840 года онъ уже былъ въ Римѣ и опять принялся за работу надъ «Мертвыми Душами», а вмѣстѣ съ тѣмъ вновь явилось у него и чувство любви къ Россіи. 28 декабря (1840 г.) онъ писалъ С. Т. Аксакову изъ Рима: «Я теперь приготовляю къ современной очисткѣ первый томъ «Мертвыхъ Душъ». Перемѣняю, перечищаю, многое перерабатываю вовсе... Между тѣмъ дальнѣйшее продолженіе его выясняется въ головѣ моей чище, величественнѣй, и теперь я вижу, что можетъ быть со временемъ кое-что колоссальное, если только позволятъ слабыя мои силы...» Ниже, въ этомъ же письмѣ, характерно слѣдующее: «*Да, чувство любви къ Россіи, слышу, во мнѣ сильно*[1]). Многое, что казалось мнѣ прежде непріятно и невыносимо, теперь мнѣ кажется опустившимся въ свою ничтожность и незначительность, и я дивлюсь, ровный и спокойный, какъ я могъ ихъ когда-либо принимать такъ близко къ сердцу».

Въ концѣ 1841 года Гоголь опять пріѣхалъ въ Россію для печатанія первой части «Мертвыхъ Душъ». Много непріятностей и хлопотъ (главнымъ образомъ въ отношеніи къ цензурѣ) ожидало его здѣсь, и уже 10 января 1842 г. онъ писалъ (изъ Москвы) Максимовичу: «Если бы

---

[1]) Курсивъ мой.

ты зналъ, какъ тягостно мое существованіе здѣсь, въ моемъ отечествѣ! Жду и не дождусь весны и поры ѣхать въ мой Римъ, въ мой рай, гдѣ я почувствую вновь свѣжесть и силы, охладѣвающія здѣсь...». Въ письмѣ къ Балабиной (того же года) читаемъ: «Вы уже знаете, какую глупую роль играетъ моя странная фигура въ нашемъ родномъ омутѣ, куда я не знаю, за что попалъ. Съ того времени, какъ только ступила моя нога въ родную землю, мнѣ кажется, какъ будто я очутился на чужбинѣ»... Въ письмѣ къ Плетневу (6 февр. 1842 г.) онъ восклицаетъ: «О, какъ бы мнѣ нуженъ былъ теперь мой тихій уголъ въ Римѣ, куда не доходятъ до меня никакія тревоги и волненія!»

Печатаніе «Мертвыхъ Душъ» приближалось къ концу, и въ маѣ 1842 г., собираясь опять за границу, въ «свой» Римъ, Гоголь писалъ Данилевскому: «Черезъ недѣлю послѣ сего письма ты получишь отпечатанныя «Мертвыя Души», преддверіе немного блѣдное той великой поэмы, которая строится во мнѣ и разрѣшитъ, наконецъ, загадку моего существованія». А по пути въ Римъ онъ писалъ Жуковскому изъ Берлина (26 іюня 1842 года): «Скажу только, что съ каждымъ днемъ и часомъ становится свѣтлѣй и торжественнѣй въ душѣ моей, что не безъ цѣли и значенія были мои поѣздки, удаленія и отлученія отъ міра, что совершалось незримо въ нихъ воспитаніе души моей... что чаще и торжественнѣй льются душевныя мои слезы и что живетъ въ душѣ моей глубокая, неотразимая вѣра, что небесная сила поможетъ взойти мнѣ на ту лѣстницу, которая предстоитъ мнѣ, хотя я стою еще на нижайшихъ и первыхъ ступеняхъ ея. Много труда и пути, и душевнаго воспитанія впереди еще! Чище горняго снѣга и свѣтлѣй небесъ должна быть душа моя, и тогда только я приду въ силы начать подвиги и великое поприще, тогда только разрѣшится загадка моего существованія!»

II.

Этотъ рядъ выдержекъ рисуетъ намъ тотъ сложный процессъ, который совершался въ душѣ Гоголя въ періодъ между 1836 и 1842 годами, когда онъ работалъ надъ первою частью «Мертвыхъ Душъ». Теперь постараемся дать этому душевному процессу посильное истолкованіе.

Въ его составъ входитъ рядъ моментовъ, изъ которыхъ каждый можетъ имѣть свое объясненіе, являющее ложный видъ «достаточнаго основанія».

Первый моментъ — «бѣгство» Гоголя изъ Россіи въ 1836 году и горечь, съ которою онъ отзывается объ отечествѣ въ это время—легко объясняется тѣми непріятностями, какія выпали на долю автора «Ревизора» послѣ постановки знаменитой комедіи. Это была первая и, кажется, самая бурная «ссора» Гоголя съ соотечественниками. Ему пришлось испытать то, что весьма часто приходится испытывать писателямъ-сатирикамъ. Болѣзненно-чуткая и неуравновѣшенная натура Гоголя была глубоко потрясена всѣми кривыми толками, всей массой тупого непониманія, осужденіями и своего рода «гоненіями» со стороны подавляющей массы общества, представителями которой были въ литературѣ Сенковскій, Булгаринъ и др. Послѣдовавшая вскорѣ смерть Пушкина явилась новымъ ударомъ, который, можно сказать, ошеломилъ Гоголя, выбилъ его изъ колеи [1]). Потухъ свѣтъ, озарявшій его темный путь, и отнынѣ великое дѣло Гоголя должно было совершаться во тьмѣ; разсѣять эту тьму не могли,— для него—тѣ лучи, которые исходили отъ немногихъ просвѣщенныхъ умовъ, понимавшихъ, что̀ такое Гоголь и въ чемъ его призваніе. Россія безъ Пушкина казалась ему

---

[1]) См. соотвѣтственныя мѣста изъ писемъ, приведенныя въ гл. II (и въ этой). Вотъ еще одно: „Смерть Пушкина, кажется какъ будто отняла отъ всего, на что погляжу, половину того, что могло бы меня развлекать“ (въ письмѣ къ Прокоповичу отъ 19 сентября 1837 г. изъ Женевы).

еще непригляднѣе, еще безотраднѣе... И всѣ его — *личныя, интимныя* — связи съ отечествомъ ограничивались теперь семьею и дружескими отношеніями съ нѣсколькими лицами, которые его понимали и цѣнили, которыхъ онъ любилъ,—съ Данилевскимъ, Прокоповичемъ, Жуковскимъ, Погодинымъ, Аксаковымъ и нѣкоторыми другими.

Второй моментъ—очарованіе Италіей вообще и Римомъ въ частности — нетрудно истолковать тѣмъ, что, при общемъ благотворномъ дѣйствіи на Гоголя климата, природы Италіи, культурной обстановки и художественныхъ впечатлѣній, какія доставлялъ вѣчный городъ, здѣсь впервые, какъ говорится, окончательно «наладилась» завѣтная работа Гоголя надъ «Мертвыми Душами» и установился извѣстный навыкъ, всегда необходимый для творчества. Уже въ силу одного этого навыка, т.-е. усвоенной умомъ привычки работать среди опредѣленной обстановки, Гоголь долженъ былъ привязаться къ Италіи, и эта привязанность къ мѣсту по необходимости становилась тѣмъ сильнѣе, чѣмъ дальше подвигалась работа. А эта работа была «вдохновенная», она доставляла поэту высокія умственныя наслажденія, и «восторги творчества» ассоціировались съ впечатлѣніями мѣста. Выражая свою восторженную любовь къ Риму, Гоголь, повидимому, не подозрѣвалъ, что для него величіе Колизея, красота храма св. Петра, таинственная прелесть старинныхъ часовенъ и т. д. усугублялись тѣмъ, что здѣсь, среди этой чарующей обстановки, созидались и разрабатывались фигуры героевъ «Мертвыхъ Душъ». Нельзя сомнѣваться въ томъ, что Чичиковъ съ Коробочкой, Селифанъ съ Петрушкой и т. д. не мало украсили—для Гоголя—Римъ, и что Колизей и храмъ св. Петра безъ Собакевича, Манилова и Ноздрева утратили бы для поэта Руси добрую долю своего обаянія...

Третій моментъ — любовь къ Россіи изъ прекраснаго далёка — психологически связанъ съ только что разсмотрѣннымъ вторымъ: «восторги творчества», усугубляя оча-

рованіе Римомъ, въ то же время примиряли поэта съ его отечествомъ, которое и было объектомъ этого творчества. Горечь личныхъ обидъ, острыя впечатлѣнія недавней «ссоры» съ соотечественниками исчезали въ радостяхъ вдохновеннаго труда. Среди созерцаній Руси изъ прекраснаго далёка не было мѣста другимъ чувствамъ къ ней, кромѣ чувства той любви, подъ которою скрывалось тяготѣніе великаго поэта къ своему національному цѣлому.

Четвертый моментъ — тоска по Риму и отвращеніе къ жизни въ Россіи, которыя Гоголь испытывалъ и такъ откровенно рѣзко выражалъ въ своихъ письмахъ во время пріѣздовъ въ отечество, — получаетъ свое освѣщеніе изъ предыдущаго. Отъ поэзіи творчества Гоголь переходилъ тогда къ тягостной для него прозѣ существованія, осложненной къ тому же денежными затрудненіями, долгами, недоразумѣніями съ друзьями московскими и петербургскими, хлопотами и всякимъ инымъ, какъ онъ выражался, «дрязгомъ жизни» [1]). Гоголь примирялся съ отечествомъ и любилъ его, когда, живя въ Италіи, онъ создавалъ свои великолѣпные національные типы (ихъ отрицательный характеръ ничуть не мѣшалъ этой «любви»); но когда онъ, живя въ Россіи, вступалъ въ непосредственное дѣловое, житейское общеніе съ дѣйствительностью, воплощенною въ этихъ типахъ, тогда онъ чувствовалъ себя отвратительно.

Итакъ, всѣ эти моменты находятъ себѣ объясненіе, и при томъ такъ, что раскрывается внутренняя связь между ними.

Но нетрудно видѣть всю недостаточность этихъ объ-

---

[1]) Эти отношенія къ друзьямъ и „недоразумѣнія“ прослѣжены шагъ за шагомъ и документально разслѣдованы въ капитальномъ трудѣ *В. И. Шенрока* („Матеріалы для біографіи Гоголя“, именно въ томахъ III и VI). Въ высокой степени цѣнны эпизодическія изслѣдованія покойнаго *Н. С. Тихонравова* (въ примѣчаніяхъ къ изданію сочиненій Гоголя) и проф. *А. И. Кирпичникова* („Гоголь и Погодинъ“ въ „Русск. Стар.“).

ясненій: въ своей элементарности и прагматичности они годились бы для всякаго другого писателя, который находился бы въ положеніи Гоголя. Они только намѣчаютъ, но отнюдь не истолковываютъ намъ данный душевный процессъ *во всей его индивидуальности*—такъ, чтобы изъ этого объясненія мы могли вынести что-нибудь новое, что-нибудь опредѣленное и болѣе или менѣе важное для пониманія душевнаго уклада Гоголя и для освѣщенія темныхъ путей его творчества.

Поэтому необходимо, такъ сказать, индивидуализировать приведенныя объясненія, исходя изъ того, что̀ въ предыдущихъ главахъ мы говорили о характерныхъ особенностяхъ ума и натуры творца «Мертвыхъ Душъ».

Обращаясь къ этой задачѣ, мы сперва укажемъ на слѣдующее обстоятельство, которое, на первый взглядъ, легко можно принять за выраженіе одного изъ многихъ противорѣчій, какими такъ богата натура Гоголя. Мы указывали уже на *замкнутость*, на *неэкспансивность*, какъ на одну изъ отличительныхъ чертъ его характера. Это признается всѣми и было отмѣчено еще современниками великаго писателя. И однако же едва ли найдется у насъ другой писатель, который бы раскрылъ намъ свою душу, свои тайныя помышленія, свои страданія, наконецъ разныя подробности, относящіяся къ творческой работѣ, въ такой мѣрѣ, съ такою обстоятельностью, съ такою откровенностью, какъ сдѣлалъ это Гоголь—и не только въ интимныхъ письмахъ къ друзьямъ, но и въ печатныхъ произведеніяхъ («Авторская исповѣдь», нѣкоторыя страницы «Выбранныхъ мѣстъ»). Въ то время какъ въ сочиненіяхъ и письмахъ Пушкина и Тургенева едва можно набрать сотню-другую *строкъ* этого рода признаній, въ литературномъ наслѣдіи Гоголя они занимаютъ *десятки страницъ*. Какъ согласовать это съ столь извѣстною скрытностью, неэкспансивностью Гоголя?

Противорѣчіе—только кажущееся и оно легко устраняется слѣдующимъ соображеніемъ.

Въ первой главѣ мы указали на то, что творчество Гоголя было, въ значительной мѣрѣ, *субъективнымъ*, т.-е. онъ во многомъ исходилъ изъ *самонаблюденія*, и свои художественные эксперименты зачастую производилъ *надъ самимъ собой*. Повидимому, эта субъективность въ творчествѣ связывалась интимными психическими узами съ самой натурой Гоголя, съ его характеромъ, какъ человѣка, и представляла собою, въ сферѣ творчества, какъ бы отраженіе и коррелятъ все той же *замкнутости въ себѣ*, все той же склонности носиться съ своимъ «*я*», предаваться самонаблюденію въ большей мѣрѣ, чѣмъ это свойственно всякой рефлектирующей и стремящейся къ самосознанію душѣ человѣческой. Вообще представляется вѣроятнымъ, что существуетъ психическое сродство между такимъ избыткомъ самоанализа, какъ чертой характера, и субъективностью творчества, какъ особенностью таланта, подобно тому, какъ, съ другой стороны, должно быть сродство между душевнымъ укладомъ, характеризующимся извѣстнымъ минимумомъ самоуглубленія и здоровою воздержанностью самоанализа, и объективностью творческаго дара. Какъ бы то ни было, но въ отношеніи къ Гоголю нельзя отрицать того, что субъективный пошибъ его творчества какъ нельзя лучше гармонировалъ съ присущей ему «замкнутостью въ себѣ», съ его самоуглубленіемъ и самоанализомъ—чертами, которыя, въ своемъ послѣдовательномъ и отчасти болѣзненномъ развитіи, привели вскорѣ къ самобичеванію, самоугрызеніямъ, покаяніямъ и, наконецъ, къ постановкѣ извѣстной мудреной задачи «своего душевнаго дѣла». При сильно выраженныхъ особенностяхъ такого душевнаго уклада и соотвѣтственнаго ему творческаго дарованія внутреннее «я» человѣка становится центромъ, вокругъ котораго вращаются сперва всѣ его личныя стремленія, помыслы, идеалы,— вообще его внутренній міръ, а потомъ въ эту сферу психическаго тяготѣнія вовлекается и внѣшняя среда, и тогда все, что не «я», все объективное, получаетъ для человѣка смыслъ и

значеніе лишь постольку, поскольку оно входитъ въ кругъ его душевныхъ интересовъ и въ сферу его интимнаго пониманія. Все прочее, безъ дальнихъ разговоровъ, отметается, какъ ненужное, неважное, пустое, ничтожное. На такой ступени развитія субъективности натуры, ума и дарованія осуществляется тотъ укладъ духа, который можно назвать «*эгоцентричностью сознанія*». Этотъ укладъ ясно виденъ у Л. Н. Толстого, впрочемъ, отчасти умѣряемый широкимъ образованіемъ и разносторонностью его умственныхъ и нравственныхъ интересовъ. У Гоголя несомнѣнно была очень ярко выраженная эгоцентричность сознанія, къ тому же усиливаемая скудостью его образованія, темнотою его мысли, узкостью и неразносторонностью его умственныхъ интересовъ.

Вотъ именно этотъ *эгоцентрическій* укладъ психики Гоголя и долженъ быть взятъ исходною точкой всѣхъ попытокъ психологическаго (и при томъ «индивидуализированнаго») объясненія тѣхъ душевныхъ состояній, которыя переживалъ великій поэтъ въ разсматриваемое время, когда онъ, созерцая Русь изъ прекраснаго далёка, воплощалъ эти созерцанія въ безсмертныхъ образахъ и картинахъ «Мертвыхъ Душъ».

И прежде всего, для устраненія вышеуказаннаго кажущагося противорѣчія, замѣтимъ, что, какъ бы человѣкъ ни былъ скрытенъ и неэкспансивенъ, разъ онъ—натура эгоцентрическая и «полонъ собою», онъ невольно разскажетъ о себѣ, откроетъ свою душу тѣмъ или инымъ способомъ гораздо скорѣе и полнѣе, чѣмъ сдѣлалъ бы это самый экспансивный, самый откровенный человѣкъ неэгоцентрическаго уклада,—человѣкъ, который не «носится» съ самимъ собою, а больше смотритъ по сторонамъ и живетъ впечатлѣніями міра внѣшняго въ большей мѣрѣ, чѣмъ рефлексіей своего внутренняго бытія. По пословицѣ «что у кого болитъ, тотъ о томъ и говоритъ», человѣкъ, полный собою, говоритъ о себѣ, потому что быть полнымъ собою значитъ, въ извѣстномъ смыслѣ, «болѣть собою».

Слишкомъ центральное положеніе человѣческаго «я» есть бремя неудобоносимое. Вниманіе, напряженно устремленное внутрь, утомляется скорѣе и больше, чѣмъ вниманіе, обращенное къ внѣшнему міру. Ибо и темно, и тревожно въ душѣ человѣческой, и взоръ, прикованный къ ея микрокосму, смотритъ въ темноту и по необходимости становится игралищемъ всего, что тамъ залежалось, что тамъ глухо бродитъ, что прячется,—разныхъ болѣе или менѣе допотопныхъ понятій, спящихъ въ безсознательной сферѣ духа, различныхъ иллюзій сознанія и тайныхъ самообмановъ чувствъ, имѣющихъ свой смыслъ и свою душевную правду, пока они скрыты, и становящихся ложью, когда обнаружены.

Даже при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ жизни и дѣятельности человѣка, когда онъ не испытываетъ особливой душевной боли, когда онъ вполнѣ удовлетворенъ и счастливъ, крайній эгоцентризмъ духа есть уже болѣзнь и самъ по себѣ можетъ причинить своеобразныя душевныя страданія, особыя томленія мысли и совѣсти, которыя будутъ искать себѣ выхода, дѣйствительнаго или кажущагося облегченія во внѣшнихъ выраженіяхъ, въ словѣ, въ признаніи, въ исповѣди, въ поступкахъ, наконецъ въ творчествѣ, если человѣкъ обладаетъ творческимъ даромъ. Тѣмъ паче становится этотъ укладъ болѣзнью, иногда роковою, и причиняетъ жестокія муки тогда, когда условія жизни и дѣятельности человѣка складываются неблагопріятно для него, когда ему приходится такъ или иначе переносить несправедливость, «кривые толки, шумъ и брань», видѣть себя непонятымъ, неоцѣненнымъ, когда наносятся чувствительные удары самолюбію или самомнѣнію человѣка. И человѣкъ будетъ очень и очень «боленъ собою» и непремѣнно будетъ много, много говорить или писать все о себѣ, о себѣ...

Такъ было съ Гоголемъ.

Высказаться, «исповѣдаться», и при томъ публично выразиться въ словѣ и въ дѣйствіи (и чѣмъ меньше «дѣй-

ствія», тѣмъ больше «словъ») было для Гоголя, какъ натуры крайне эгоцентрической, глубокою душевною потребностью. Оттуда и обиліе интимныхъ писемъ, и «Авторская исповѣдь», и появленіе «Выбранныхъ мѣстъ изъ переписки съ друзьями», и страсть поучать, наставлять, проповѣдывать (если не ошибаюсь, всѣ проповѣдники—натуры эгоцентрическія), и наконецъ тотъ особый родъ «хлестаковщины», который составлялъ одну изъ чертъ личнаго характера Гоголя и долженъ быть отличаемъ отъ хлестаковщины, воплощенной въ безсмертномъ образѣ Ивана Александровича Хлестакова. Лично-гоголевская хлестаковщина—не лганье, а только невольное, преждевременное оповѣщеніе о литературныхъ предпріятіяхъ, которыя только задуманы («8 томовъ» исторіи Малороссіи, «нѣчто колоссальное», о «Мертвыхъ Душахъ», которыя едва были начаты, выраженіе «преддверіе той великой поэмы, которая строится во мнѣ» и т. д. и т. д.). Это только отсутствіе авторской скромности. Повидимому, скромность вообще не свойственна натурамъ эгоцентрическимъ [1]).

Читая вышеприведенныя выдержки изъ писемъ, вникая въ ихъ приподнятый, болѣзненно-страстный тонъ, мы живо представляемъ себѣ *повышенное самочувствіе* человѣка, который ни при какихъ условіяхъ не перестаетъ ощущать давленіе своего «я». Случится ли непріятность, горе, или, наоборотъ, явится радость,—это «я» давитъ на душу и окрашиваетъ всѣ впечатлѣнія въ первомъ случаѣ чрезмѣрностью болевыхъ ощущеній, во второмъ—избыткомъ душевнаго наслажденія. Такой человѣкъ не можетъ от-

---

[1]) Замѣтимъ кстати, что нескромность и хвастовство, свойственныя юности, являются выраженіемъ того нормальнаго и преходящаго эгоцентризма, который присущъ всякому человѣку, когда онъ молодъ, полонъ силъ и бодро смотритъ въ свое будущее. *Этотъ* юный эгоцентризмъ съ годами умѣряется и исчезаетъ. Настоящія эгоцентрическія натуры—это тѣ, у которыхъ эгоцентризмъ съ годами не проходитъ, а, напротивъ, все усиливается.

даться впечатлѣнію такъ, чтобы его «я» на время потонуло въ этомъ впечатлѣніи. Восторгаясь Римомъ, Гоголь не переставалъ чувствовать свое «я», которое восторгалось. Въ Россіи, среди разныхъ непріятностей, гнетущихъ впечатлѣній, страдая отъ «дрязга жизни», онъ живо ощущалъ свое «я», которое страдало. Эгоцентрическій укладъ Гоголя можетъ быть охарактеризованъ такъ: невольно, самъ не отдавая себѣ отчета въ томъ, Гоголь становился, въ своихъ отношеніяхъ къ окружающей средѣ, къ людямъ, къ жизни, на точку зрѣнія, выражаемую въ формулѣ: «*я и все прочее*». И вотъ именно «все прочее» отражалось въ его душѣ не само по себѣ, а черезъ посредство настроеній его «я», которое навязчиво и неотступно сопутствовало всякому впечатлѣнію, всякому душевному движенію. Его чувства осложнялись самочувствіемъ. Быть можетъ, во всемъ этомъ слѣдуетъ видѣть извѣстный психозъ, но и помимо психоза Гоголь могъ быть такимъ въ силу эгоцентрическаго уклада своей натуры. Вспомнимъ еще разъ Л. Н. Толстого, образецъ вполнѣ здоровой и даже уравновѣшенной и вмѣстѣ съ тѣмъ рѣзко эгоцентрической натуры: вѣдь и у него отчетливо проявляется точка зрѣнія, выражаемая тою же формулой: «*я и все прочее*», и въ его мысляхъ, впечатлѣніяхъ, ощущеніяхъ всегда съ большею или меньшею ясностью обнаруживается то, что мы называемъ настойчивымъ присутствіемъ центральнаго «я». Нѣтъ надобности быть психически больнымъ (опредѣленною формой психоза) для того, чтобы «болѣть» слишкомъ центральнымъ положеніемъ своего «я», его давленіемъ на всю психику.

Для Гоголя, какъ натуры эгоцентрической, въ высокой степени характерно также и то, что всю жизнь онъ бился надъ разрѣшеніемъ «загадки своего существованія». Ему всегда казалось, что онъ «посланъ» въ міръ свыше (вспомнимъ: «мнѣ ли не благодарить Пославшаго меня на землю...» — въ письмѣ къ Жуковскому), что ему предстоитъ великое «поприще», что жизнь его должна быть какимъ-

то «служеніемъ». Это также одно изъ проявленій общей неспособности души отдаться впечатлѣнію, дѣлу, призванію такъ, чтобы не думать о себѣ, не чувствовать себя. Пытливый взоръ художника, созерцавшаго Русь, то и дѣло устремлялся внутрь. Великій поэтъ одновременно видѣлъ и Русь, и себя самого, ее созерцающаго. И какъ разновидность общей формулы «я и все прочее», возникала болѣе частная формула «я, Гоголь и Русь». Упрочиваясь на этой точкѣ зрѣнія, онъ думалъ «разрѣшить загадку своего существованія», и созерцанія Руси сливались въ одно цѣлое, въ одну сложную задачу съ тѣми внутренними самосозерцаніями, на которыхъ основывалось его «душевное дѣло»,—дѣло воспитанія себя, нравственнаго совершенствованія. Казалось бы, послѣ созданія первой части «Мертвыхъ Душъ» призваніе Гоголя, какъ великаго національнаго поэта-сатирика и мощнаго двигателя общественнаго сознанія на Руси, выяснилось съ достаточною опредѣленностью; но онъ продолжалъ думать, что загадка его существованія еще далеко не разрѣшена, и все глубже и глубже вперялъ онъ взоръ внутрь себя, а тамъ становилось все темнѣе, все тревожнѣе. Помимо разныхъ чисто личныхъ невзгодъ, которыя только осложняли дѣло или обостряли душевную боль, великая тревога его души состояла въ томъ, что онъ, въ силу все того же крайне эгоцентрическаго уклада натуры, не могъ цѣликомъ отдаться своему призванію художника, не былъ въ состояніи повиноваться велѣніямъ своего генія. Не даромъ уже, воплотивъ свои созерцанія Руси въ безсмертные типы и картины «Мертвыхъ Душъ», онъ пришелъ къ вопросу: «Русь! какая непостижимая связь таится между нами?» Великое художественное дѣло не разрѣшило личной задачи художника и выдвинуло новый вопросъ. Ему казалось, что онъ призванъ къ чему-то иному: въ великомъ художественномъ подвигѣ не растворилось, не упразднилось то, что было дано въ формулѣ: «я и Русь». Формула осталась попрежнему и требовала новой рабо-

ты. Попрежнему «Русь» смотрѣла (такъ казалось ему) на поэта очами, полными ожиданія. «Русь! чего же ты хочешь отъ меня?» вопрошалъ онъ. Полныя ожиданія очи дѣйствительно были обращены на него,—это были очи Бѣлинскаго, Аксаковыхъ, Анненкова, Тургенева, Герцена и др., но на *эти* очи Гоголь обращалъ мало вниманія. Весь погруженный въ себя, «полный собою», можно сказать подавленный тяжестью своего «я», онъ былъ жертвою иллюзіи, будто съ такою же силою и властностью выступаетъ его личность и передъ лицомъ «Руси», будто «все, что ни есть на Руси, обратило въ него полныя ожиданія очи» («Мертв. Д.» ч. I, гл. XI). Оттуда роковымъ образомъ зарождалась мысль, что его личная задача далеко не исчерпывается призваніемъ художника. Его эгоцентризмъ былъ того рода, который характеризуется или осложняется стремленіемъ человѣка проявить свое «я» не столько въ творчествѣ, сколько въ другомъ, иногда довольно трудномъ выраженіи, которое мы назовемъ «*осуществленіемъ общественной стоимости*» человѣка. Нѣтъ надобности, конечно, быть натурою эгоцентрическою, чтобы стремиться къ осуществленію своей общественной стоимости. Это—стремленіе вообще человѣческое, слишкомъ человѣческое... Но у натуръ эгоцентрическихъ оно должно проявляться съ особливою настойчивостью. Повидимому, разъ онѣ одержимы этой «духовной жаждой» проявленія себя въ общественной средѣ, онѣ томятся и страдаютъ при невозможности достичь его въ гораздо большей мѣрѣ, чѣмъ натуры иного склада. Это станетъ яснѣе, когда мы разъяснимъ, что именно понимаемъ мы подъ терминомъ «осуществленіе общественной стоимости человѣка».

III.

Человѣкъ, искони «животное общественное», прежде всего хочетъ быть членомъ общества, единицею въ группѣ себѣ подобныхъ. Личная задача всякаго нормальнаго

человѣка сводится къ тому, чтобы, вступая въ сознательную и лично отвѣтственную жизнь, онъ не оказался въ общественной средѣ пулемъ или балластомъ. Въ обществахъ, стоящихъ на болѣе или менѣе низкихъ, архаическихъ или «варварскихъ» ступеняхъ культуры, гдѣ еще нѣтъ расцвѣта индивидуальности, человѣку не трудно стать членомъ общества, почувствовать и сознать себя единицею въ группѣ. Тамъ люди, можно сказать, рождаются съ готовою общественною стоимостью, которую, придя въ возрастъ, они безпрепятственно осуществляютъ среди несложныхъ, стойкихъ, относительно неподвижныхъ формъ общественности. Тамъ общественная роль человѣка заранѣе опредѣлена и мѣсто ему уготовано,— проложенъ и утоптанъ его путь въ жизни, для прохожденія котораго не требуется особой подготовки, спеціальныхъ знаній, личныхъ качествъ. При несложности отношеній, при незначительности индивидуальныхъ различій человѣческой особи не трудно приспособиться къ группѣ, войти въ тѣсное общеніе съ себѣ подобными, безъ чего невозможно осуществленіе общественной стоимости. Пусть, съ нашей точки зрѣнія, она ничтожна, она—грошъ, но это «грошъ» реальный, а не только мечта о грошѣ, не только стремленіе къ нему. Совершенно иную картину являютъ намъ отношенія личности къ группѣ въ современномъ цивилизованномъ обществѣ, характеризующемся большою сложностью отношеній, многообразіемъ и нерѣдко трудностью задачъ, предстоящихъ человѣку, необходимостью особой подготовки, спеціальныхъ знаній, господствомъ борьбы и конкуренціи, пышнымъ развитіемъ индивидуализма. Здѣсь человѣкъ, вступая въ сознательную жизнь, долженъ еще найти, раздобыть, завоевать себѣ мѣсто въ обществѣ, вовсе не уготованное ему заранѣе; фактъ присутствія человѣка въ обществѣ еще не дѣлаетъ его величиной общественной. Лишь крайне рѣдко становится онъ таковою непроизвольно, въ силу стеченія особо благопріятныхъ условій; въ огромномъ большинствѣ случаевъ осу-

ществленіе общественной стоимости является мудренною задачей со многими неизвѣстными, которую человѣкъ долженъ рѣшить самъ, конкурируя съ другими, вооружаясь знаніями всякаго рода, приспособляясь къ требованіямъ и условіямъ все усложняющейся и растущей цивилизаціи. Вопросъ труда и заработка на разныхъ поприщахъ, т.-е. личная задача матеріально необезпеченнаго человѣка найти въ обществѣ спросъ на свой трудъ и пріобрѣсть средства къ существованію, образуетъ лишь особую, хотя и чрезвычайно важную сторону общаго вопроса осуществленія человѣкомъ своей общественной стоимости. Можно быть вполнѣ обезпеченнымъ матеріально и все-таки не осуществить своей общественной стоимости. Относясь къ тому порядку психическихъ явленій, который обнимается понятіемъ *психологіи общественныхъ отношеній и связей личности*, задача осуществленія общественной стоимости есть, по существу, задача *общественно-психологическая*. Суть дѣла здѣсь не въ томъ, чтобы человѣкъ фактически находился въ обществѣ, имѣлъ въ немъ свое мѣсто, дѣло, заработокъ, а чтобы онъ, имѣя это, кромѣ того *чувствовалъ себя величиной общественной и звеномъ въ психологической цѣпи, связующей людей въ организованное соціальное цѣлое*. Если онъ не чувствуетъ этого, то его общественная стоимость не можетъ считаться осуществленною. Весьма и весьма часто ея осуществленіе въ самомъ дѣлѣ зависитъ отъ того, найдетъ ли человѣкъ въ обществѣ спросъ на свой трудъ. Но всегда возможны случаи, когда люди, найдя этотъ спросъ и пріобрѣтя прочное положеніе въ обществѣ, все-таки остаются случайными наемниками, не вступаютъ въ тѣсное, интимное общеніе съ соціальною средой, не чувствуютъ себя въ ней величиною общественною. Съ другой стороны, мы видимъ людей, которымъ не приходится завоевывать себѣ свое мѣсто въ обществѣ, потому что оно само собою упрочивается за ними въ силу ли ихъ таланта, или ихъ богатства, или, наконецъ, происхожденія. Для нихъ осуществленіе

общественной стоимости представляетъ задачу сравнительно легкую. Но это еще не значитъ, что она непремѣнно будетъ рѣшена ими. Нерѣдко оказывается, что ихъ, повидимому осуществленная общественная стоимость на добрую долю—фиктивна, что она какъ бы пародія настоящей общественной стоимости, что въ сущности эти люди только *живутъ* въ обществѣ, какъ проѣзжающіе въ гостинницѣ. Встрѣчаются также и такіе случаи: человѣкъ сознаетъ себя несомнѣнною величиной въ обществѣ и дѣлаетъ дѣло, которому нельзя отказать въ общественномъ значеніи, но общество не цѣнитъ его заслугъ, не понимаетъ пользы и смысла его дѣятельности,—и человѣкъ поневолѣ является «лишнимъ». Таковымъ онъ можетъ сдѣлаться и по своей винѣ, т.-е. по неумѣнію согласовать свою дѣятельность съ интересами общества. Въ томъ и въ другомъ случаѣ его общественная стоимость остается неосуществленною, хотя бы онъ и не былъ «безпріютнымъ скитальцемъ», какъ Рудинъ. Дѣйствительность представляетъ большое разнообразіе случаевъ неосуществленія общественной стоимости людей и не зачѣмъ перечислять ихъ. Сложились даже *типы* людей съ неосуществленною общественною стоимостью, извѣстные подъ названіями: «неудачники», «лишніе люди», «отщепенцы» и т. д.

Все вышесказанное объединяется въ слѣдующихъ положеніяхъ: 1) осуществленіе общественной стоимости предполагаетъ: а) общественное значеніе дѣятельности человѣка, б) признаніе этого значенія обществомъ, в) сознаваніе личностью, что она—величина общественная. 2) Подъ *обществомъ* понимается въ данномъ случаѣ та соціально-организованная среда, къ которой личность фактически принадлежитъ—какъ житель, обыватель, дѣятель, гражданинъ. При классовомъ характерѣ общественнаго строя ближайшею средой, гдѣ осуществляется общественная стоимость личности, являются именно *классы;* но личность можетъ, разумѣется, стремиться къ осуществленію своей общественной стоимости и въ болѣе ши-

рокой средѣ, внѣ классовъ, служа на томъ или иномъ поприщѣ всему народу или же государству, если послѣднее не носитъ слишкомъ опредѣленнаго классоваго характера. 3) Среда, гдѣ осуществляется общественная стоимость человѣка, можетъ быть для одного уже, для другого шире; она можетъ мѣняться: сейчасъ человѣкъ имѣетъ свою общественную стоимость въ одномъ мѣстѣ, въ одномъ классѣ, въ одномъ государствѣ; съ теченіемъ времени онъ можетъ перенести ее въ другое мѣсто, въ другой классъ, въ другое государство. 4) *Общественная стоимость человѣка есть явленіе прижизненное:* со смертью человѣка она исчезаетъ, въ противоположность другому значенію человѣка — національному, а также общечеловѣческому, которыя со смертью не всегда прекращаются, а нерѣдко еще возрастаютъ, иногда же только послѣ смерти и выясняются съ полною опредѣленностью.

Этотъ послѣдній пунктъ (различеніе общественной стоимости человѣка съ одной стороны и его національнаго или общечеловѣческаго значенія съ другой) представляетъ особую важность и требуетъ нѣкоторыхъ поясненій.

Національное или, еще шире, общечеловѣческое значеніе пріобрѣтаютъ сравнительно немногія личности, большею частью въ силу извѣстныхъ дарованій или того, что называется геніальностью [1]). Общественная стоимость (въ возможности)—это принадлежность всѣхъ и каждаго (кромѣ, разумѣется, тѣхъ, которые отъ природы не способны къ общественной жизни, напр., идіоты, психически-больные, прирожденные преступники и проч.). Осуществляясь въ широкой соціальной средѣ (напр., въ государствѣ), общественная стоимость выдающагося человѣка можетъ возвыситься до національнаго или даже общече-

[1]) Говорю „большею частью“, потому что возможны (да и бывали) случаи, когда, благодаря исключительнымъ обстоятельствамъ, пріобрѣтали такое значеніе лица, не имѣвшія особыхъ дарованій или вообще соотвѣтственнаго призванія.

ловѣческаго значенія (Солонъ, Периклъ, Цезарь, Наполеонъ, Петръ Великій, Николай Милютинъ, Бисмаркъ и т. д., и т. д., при огромномъ разнообразіи въ размѣрахъ и самомъ характерѣ значенія личности). Въ этихъ случаяхъ мы видимъ *совмѣщеніе* двухъ явленій (общественной стоимости и національнаго или общечеловѣческаго значенія), но самыя-то явленія остаются различными,—явленіями разнаго порядка. И, очевидно, чувствовать свое національное значеніе — это одно, а чувствовать свою общественную стоимость осуществленною — это другое. Это—два разныхъ чувства. Сплошь и рядомъ осуществленіе даже очень большихъ общественныхъ стоимостей отнюдь не приводитъ къ пріобрѣтенію ихъ обладателями значенія національнаго. И наоборотъ: даже великое національное или общечеловѣческое значеніе великаго человѣка вовсе не предполагаетъ, что онъ при жизни осуществилъ свою общественную стоимость. Вѣдь національное или общечеловѣческое значеніе можно пріобрѣсти, находясь, такъ сказать, внѣ общества, т.-е. не будучи непосредственнымъ участникомъ въ жизни опредѣленной соціальной группы и слѣдовательно не имѣя фактической возможности осуществить свою общественную стоимость. Яркій примѣръ этого—*Спиноза*, колоссальное всемірное значеніе его внѣ сомнѣнія; но общественной стоимости этотъ великій человѣкъ не имѣлъ, ибо не былъ единицею ни въ какомъ коллективномъ дѣлѣ и жилъ, вѣрнѣе—«существовалъ», внѣ общества, принадлежа «*только*» человѣчеству на всѣ грядущіе вѣка.

И по-своему онъ былъ счастливъ. Онъ не нуждался ни въ какой общественной стоимости. Но это большая рѣдкость. Въ огромномъ большинствѣ случаевъ ни національное, ни общечеловѣческое значеніе не отнимаютъ у человѣка живой душевной потребности чувствовать свою общественную стоимость осуществленною. Человѣкъ жаждетъ быть сейчасъ, ежедневно, постоянно, въ своемъ будничномъ существованіи, опредѣленною общественною

величиною, единицею (а не нулемъ) въ средѣ, гдѣ онъ живетъ, съ которою онъ сроднился, гдѣ всѣ важнѣйшіе интересы его. Завидная, славная доля національнаго генія не парализуетъ стремленія къ блаженству быть обывателемъ. Ибо, по существу «обывательское», чувство осуществленной общественной стоимости есть въ самомъ дѣлѣ одно изъ наиболѣе «блаженныхъ» чувствъ. Оно изъ числа тѣхъ, происхожденіе которыхъ теряется въ глубинѣ доисторическихъ временъ, когда человѣческой *личности* не было, а было только человѣческое общество—стадо. Чувство, о которомъ мы говоримъ, представляетъ собою одну изъ позднихъ и сложныхъ метаморфозъ *стаднаго чувства*. Оно—*инстинктъ*. И всѣ проявленія его отмѣчены стихійностью и силою, свойственными инстинктамъ.

Невозможность осуществить свою общественную стоимость нерѣдко сопровождается душевными страданіями. Участь отщепенца слишкомъ тяжела, иногда невыносима, и, если не ошибаюсь, многія самоубійства, въ послѣднемъ счетѣ, должны быть относимы къ этой причинѣ. Правда, на ряду съ этимъ мы видимъ не мало людей, повидимому, вполнѣ равнодушныхъ къ возможности или невозможности осуществить свою общественную стоимость. Это, конечно,—отнюдь не Спинозы, неисключительно—великія индивидуальности, поднявшіяся выше общественности, а индивидуумы съ атрофированнымъ соціальнымъ чувствомъ, опустившіеся ниже уровня общественности,—соціальные нули и балластъ... Симптомомъ такой атрофіи служитъ полное отсутствіе у нихъ чувства *честолюбія*, какъ, съ другой стороны наличность этого чувства является показателемъ живого стремленія человѣка къ осуществленію его общественной стоимости.

Теперь мы можемъ вернуться къ Гоголю. Намъ кажется, что многое во внутреннемъ мірѣ и въ поступкахъ этого загадочнаго человѣка получитъ свое объясненіе, если подойдемъ къ нему съ точки зрѣнія предлагаемыхъ

здѣсь понятій *общественной стоимости* человѣка, *стремленія къ ея осуществленію* и *честолюбія*, какъ симптома этого стремленія.

IV.

Начнемъ съ симптома. Честолюбіе Гоголя достаточно извѣстно изъ его біографіи и засвидѣтельствовано имъ самимъ. Сюда относится между прочимъ слѣдующее мѣсто въ «Авторской исповѣди»: «Я не могу сказать утвердительно, точно ли поприще писателя есть мое поприще. Знаю только то, что въ тѣ годы, когда я сталъ задумываться о моемъ будущемъ (а задумываться о будущемъ я началъ рано, въ тѣ поры, когда всѣ мои сверстники думали еще объ играхъ), мысль о писателѣ мнѣ никогда не всходила на умъ, хотя мнѣ всегда казалось, что я сдѣлаюсь человѣкомъ извѣстнымъ, что меня ожидаетъ просторный кругъ дѣйствій и что я сдѣлаю даже что-то для общаго добра. *Я думалъ, просто, что я выслужусь, и все это доставитъ служба государственная. Отъ этого страсть служить была у меня въ юности очень сильна. Она пребывала неотлучно въ моей головѣ впереди всѣхъ моихъ дѣлъ и занятій...*» [1]). Этимъ признаніямъ нельзя не придавать большого значенія. Они вполнѣ согласуются съ тѣмъ, что мы знаемъ о жизни Гоголя въ Петербургѣ въ началѣ 30-хъ годовъ, когда онъ, можно сказать, былъ поглощенъ столь характернымъ для русскаго человѣка дѣломъ—исканіемъ «мѣста» на государственной службѣ и лелѣялъ честолюбивыя мечты. Достаточно извѣстно, что необходимость матеріальнаго обезпеченія была далеко не единственною и не главною пружиною, имъ двигавшею въ этомъ случаѣ. Равно извѣстно и то, что его честолюбіе не было обыкновеннымъ честолюбіемъ маленькаго чиновника-провинціала, мечтающаго дослужиться до тепленькаго мѣстечка съ приличнымъ окладомъ и чиномъ.

---

[1]) Курсивъ мой.

Еще въ 1827 г., только собираясь въ Петербургъ, 18-тилѣтній юноша, онъ писалъ Косяровскому: «Еще съ самыхъ временъ прошлыхъ, съ самыхъ лѣтъ почти непониманія, я пламенѣлъ неугасимою ревностью сдѣлать жизнь свою нужною для блага государства, я кипѣлъ принести хотя малѣйшую пользу. Тревожныя мысли, что я не буду мочь, что мнѣ преградятъ дорогу, что не дадутъ возможность принесть ему малѣйшую пользу, бросали меня въ глубокое уныніе. Холодный потъ проскакивалъ на лицѣ моемъ при мысли, что, можетъ быть, мнѣ доведется погибнуть въ пыли, не означивъ своего имени ни однимъ прекраснымъ дѣломъ—быть въ мірѣ и не означить своего существованія—это было для меня ужасно. Я перебиралъ въ умѣ всѣ состоянія, всѣ должности въ государствѣ и остановился на одномъ—на юстиціи. Я видѣлъ, что здѣсь работы будетъ болѣе всего, что здѣсь только я могу быть благодѣяніемъ, здѣсь только буду истинно полезенъ для человѣчества. Неправосудіе, величайшее въ свѣтѣ несчастіе, болѣе всего разрывало мое сердце...» и т. д.—Гоголя-юношу, стучавшагося въ двери канцелярій и департаментовъ, манила какая-то неопредѣленная, ему самому неясная, мечта о какомъ-то великомъ поприщѣ, о служеніи отечеству,—и подъ его юнымъ и наивнымъ «карьеризмомъ» скрывалось инстинктивное стремленіе къ тому, что я называю «осуществленіемъ общественной стоимости человѣка». По условіямъ времени, для этого почти не было другихъ поприщъ, кромѣ государственной службы. Общество еще цѣликомъ было заслонено государствомъ. «Выйти въ люди» значило сдѣлаться чиновникомъ. Служить отечеству значило поступить на государственную службу.

Излишне описывать тѣ разочарованія, которыя необходимо долженъ былъ испытать здѣсь геніальный юноша, еще не уяснившій себѣ своего настоящаго призванія. Приведемъ только слѣдующее мѣсто изъ письма къ матери отъ 30 апрѣля 1829 г.: «Каждая столица вообще ха-

рактеризуется своимъ народомъ, набрасывающимъ на нее печать національности; на Петербургѣ же нѣтъ никакого характера: иностранцы, которые поселились сюда, обжились и вовсе не похожи на иностранцевъ; а русскіе, въ свою очередь, объиностранились и сдѣлались ни тѣмъ, ни другимъ. Тишина въ немъ необыкновенная, никакой духъ не блеститъ въ народѣ, все служащіе да должностные, всѣ толкуютъ о своихъ департаментахъ да коллегіяхъ, все подавлено, все погрязло въ бездѣльныхъ, ничтожныхъ трудахъ, въ которыхъ безплодно издерживается жизнь ихъ...»

Уже по этой выдержкѣ можно было предугадать, что честолюбивый юноша не осуществитъ своей общественной стоимости службою въ департаментахъ и будетъ пытаться осуществить ее гдѣ-нибудь внѣ департаментовъ. И вотъ мы видимъ Гоголя на педагогическомъ и «ученомъ» поприщѣ—преподавателемъ въ институтѣ благородныхъ дѣвицъ и профессоромъ университета. Но этому повороту въ его карьерѣ частью предшествовали, частью съ нимъ совпали другія, болѣе важныя, событія—его выступленіе на литературное поприще, появленіе «Вечеровъ на хуторѣ» и «Миргорода», знакомство съ Плетневымъ, Жуковскимъ и Пушкинымъ, его первые успѣхи, какъ писателя, первые лучи восходящей славы, первое сознаніе своего великаго таланта и своего истиннаго призванія.

И съ этого момента въ Гоголѣ одновременно растутъ и вступаютъ въ довольно сложныя взаимоотношенія, даже въ конфликтъ, «двѣ личности», съ двумя различными призваніями и дорогами въ жизни. Одна—это Гоголь—великій писатель, личность съ огромнымъ *національнымъ* всероссійскимъ значеніемъ; другая—это Гоголь—носитель потенціальной и крайне настойчивой общественной стоимости и соотвѣтственнаго честолюбія. Насколько быстро и успѣшно оправдывалось призваніе писателя, настолько туго и неудачно шло дѣло осуществленія общественной стоимости. Гоголю пришлось испытать тѣ душевныя муки,

которыя хорошо извѣстны всѣмъ честолюбцамъ-неудачникамъ. Литературные успѣхи не могли заглушить ихъ. Значеніе и слава писателя были безсильны устранить неудобоносимое бремя неосуществленной общественной стоимости. И съ этой тяготой и отравой души Гоголь останется на всю жизнь—до гроба.

Какъ велика была у Гоголя потребность осуществить свою общественную стоимость, видно между прочимъ изъ того, что уже въ первомъ петербургскомъ періодѣ его литературной дѣятельности невольно проявляется у него какъ бы инстинктивное стремленіе быть не только писателемъ-художникомъ, но и *писателемъ-гражданиномъ*, непосредственно вліять на общество. Оттуда—раннее обращеніе къ драматической формѣ, къ театру, какъ естественному проводнику этого вліянія. Повидимому, уже тогда онъ сознавалъ то, что было высказано имъ гораздо позже въ статьѣ «О театрѣ» («Выбранныя мѣста», статья XIV): «Театръ ничуть не бездѣлица и вовсе не пустая вещь, если примешь въ соображеніе то, что въ немъ можетъ помѣститься вдругъ толпа изъ пяти, шести тысячъ человѣкъ, и что вся эта толпа, ни въ чемъ несходная между собою, разбирая ее по единицамъ, можетъ вдругъ потрястись однимъ потрясеніемъ, зарыдать однѣми слезами и засмѣяться однимъ всеобщимъ смѣхомъ. Это такая каѳедра, съ которой можно много сказать міру добра».

Въ этомъ-то смыслѣ, т.-е. въ смыслѣ стремленія вліять на общество, «служить» ему посредствомъ художественнаго слова и такимъ путемъ осуществить свою общественную стоимость, вполнѣ оправдывается терминъ «писатель-гражданинъ», которымъ г. Венгеровъ озаглавилъ свои интересныя статьи о Гоголѣ (въ «Русскомъ Богатствѣ»). Впослѣдствіи, съ дальнѣйшимъ развитіемъ художественныхъ и вообще душевныхъ силъ Гоголя, этотъ инстинктъ «гражданина» подскажетъ ему своеобразную теорію служенія отечеству и государству на поприщѣ писателя-художника и моралиста. Въ «Авторской испо-

вѣди» онъ говоритъ: «Мнѣ захотѣлось служить [1]) въ какой бы ни было, хотя на самой мелкой и незамѣтной должности, но служить землѣ своей, такъ служить, какъ я хотѣлъ нѣкогда, и даже гораздо лучше, нежели я нѣкогда хотѣлъ. *Я примирился и съ писательствомъ своимъ только тогда, когда почувствовалъ, что на этомъ поприщѣ могу также служить землѣ своей* [2]). Но и тогда однако же я помышлялъ, какъ только кончу большое сочиненіе, вступить, по примѣру другихъ, въ службу и взять мѣсто...». Литературная дѣятельность представляется здѣсь какъ бы суррогатомъ настоящаго служенія «землѣ своей», которое отожествляется съ занятіемъ «мѣста» на государственной службѣ. Какъ извѣстно, это не состоялось: карьера профессора университета не удалась, и, выйдя въ отставку въ 1835 г., Гоголь потомъ ужъ не поступалъ на службу. Но былъ моментъ, именно около половины 30-хъ годовъ, когда ему казалось, что дѣятельность писателя-художника могла бы явиться не суррогатомъ государственной службы, а особымъ «служеніемъ», равносильнымъ ей. Это видно изъ слѣдующаго мѣста той же «Авторской исповѣди»: «*...какъ только я почувствовалъ, что на поприщѣ писателя могу сослужить также службу государственную*, я бросилъ все: и прежнія свои должности, и Петербургъ, и общество близкихъ душѣ моей людей, и самую Россію, чтобы вдали и въ уединеніи отъ всѣхъ обсудить, какъ это сдѣлать, чтобы доказать, *что я былъ также гражданинъ земли своей и хотѣлъ служить ей...*» [2]).

Какъ бы мы ни относились къ «Авторской исповѣди» въ цѣломъ (написанной, какъ извѣстно, съ цѣлью не то оправданія себя, не то разъясненія разныхъ недоразумѣній, вызванныхъ изданіемъ «Выбранныхъ мѣстъ»), приведенныя выдержки являются документомъ, подтверждаю-

---

[1]) Уже послѣ того, какъ вполнѣ выяснилось его настоящее призваніе—писателя.

[2]) Курсивъ мой.

щимъ взглядъ на Гоголя, какъ на «писателя-гражданина» по призванію. Иначе говоря, Гоголь не принадлежалъ къ числу тѣхъ художниковъ, которые находятъ полное удовлетвореніе въ своемъ творчествѣ, которые, если можно такъ выразиться, «духовно сыты» своими художественными созерцаніями и не ощущаютъ настоятельной потребности быть дѣятелями жизни, стать единицею, имѣющею свой удѣльный вѣсъ въ соціальной средѣ. Онъ не могъ успокоиться на сознаніи своего значенія какъ великаго національнаго поэта,—ему нужны были живыя—*прижизненныя*—связи не только съ національнымъ, но и съ общественнымъ цѣлымъ. Этимъ цѣлымъ была для него вся Россія,—онъ стремился осуществить свою общественную стоимость не въ томъ или иномъ классѣ, не въ той или другой мѣстности, не въ опредѣленной, болѣе или менѣе узкой, средѣ, а въ громадномъ, объединенномъ—всероссійскомъ—цѣломъ, представителемъ котораго являлось государство. Выраженіемъ этого стремленія и были его помыслы о службѣ и его взглядъ на свою литературную дѣятельность то какъ на суррогатъ службы, то какъ на особый родъ «служенія землѣ своей», равносильный «государственному».

V.

Изучая Гоголя съ этой стороны, мы получаемъ возможность глубже проникнуть во внутренній міръ этого загадочнаго человѣка, и намъ станутъ яснѣе тѣ душевныя состоянія, которыя переживалъ онъ, когда, созерцая Русь изъ прекраснаго далёка, онъ созидалъ великую національную «поэму».

Психологія этого созерцанія была гораздо сложнѣе, чѣмъ это кажется на первый взглядъ. Не только какъ художникъ, не спокойнымъ зрителемъ, не исключительно поэтомъ-созерцателемъ являлся Гоголь, когда, живя въ Римѣ, онъ воплощалъ «Русь» въ безсмертные образы и картины «Мертвыхъ Душъ». Въ непосредственной связи

съ творчествомъ художника трепетали въ его душѣ и тѣ струны, въ игрѣ которыхъ такъ причудливо переплеталось тяготѣніе великаго поэта къ своей національной стихіи съ тяготѣніемъ человѣческой личности къ своей общественной средѣ. Эти двѣ тяги, національная и общественная, претворялись въ живыя чувства высокаго подъема и большой глубины,—въ душевныя движенія, которыя, среди искрящагося—«гоголевскаго» —смѣха проступали «незримыми», «невѣдомыми міру» слезами.

Въ «Авторской исповѣди», уже заднимъ числомъ, этотъ процессъ представленъ такъ: «Проэктъ и цѣль моего путешествія были очень неясны. Я зналъ только, что ѣду вовсе не за тѣмъ, чтобы наслаждаться чужими краями, но скорѣй, чтобы натерпѣться, точно какъ бы предчувствовалъ, что узнаю цѣну Россіи только внѣ Россіи и добуду любовь къ ней вдали отъ нея».

Эта «любовь къ Россіи вдали отъ нея», любовь, которую нужно было «добывать» за границею, только на первый, поверхностный взглядъ можетъ показаться въ своемъ родѣ «странною», пожалуй, чисто-разсудочною, «головною», и дать поводъ вспомнить слова, сказанныя кѣмъ-то въ одномъ изъ романовъ П. Д. Боборыкина: «русскій человѣкъ особенно сильно любитъ свое отечество тогда, когда у него заграничный паспортъ въ карманѣ». Нѣтъ, любовь, о которой говоритъ Гоголь, была настоящимъ, подлиннымъ чувствомъ, крѣпко и цѣпко державшимся въ глубинѣ души двумя корнями: тягой къ національности и той другой тягой, которую мы называемъ стремленіемъ осуществить свою общественную стоимость.

Первая требуетъ еще нѣкоторыхъ поясненій, которыя мы дадимъ ниже (въ гл. V-ой), а вторая, достаточно ясная послѣ всего вышесказаннаго, окончательно дорисовывается тѣми неустанными помыслами о благѣ Россіи и тѣмъ стремленіемъ найти «правильный» путь для плодотворной дѣятельности «на пользу отечества», которые такъ занимали Гоголя во второй половинѣ 40-хъ годовъ, въ эту

столь знаменательную въ его жизни эпоху, когда въ его «больной» душѣ совершался рѣшительный поворотъ въ сторону моральной проповѣди, аскетизма и мистики. Разсмотрѣнію этой эпохи мы посвятимъ слѣдующую главу. Здѣсь же приведемъ только одинъ документъ, относящійся къ концу ея и свидѣтельствующій о томъ, что даже въ это печальное время порабощенія великаго поэта зловѣщей власти мрачнаго фанатика, о. Матвѣя, все еще было живо у Гоголя стремленіе къ живому дѣлу, къ плодотворной работѣ «на пользу очечества». Я разумѣю проектъ докладной записки, въ которой Гоголь, прося «позволенія и даже средствъ проводить три зимніе мѣсяцы въ году въ Греціи или на островахъ Средиземнаго моря и три лѣтніе—гдѣ-нибудь внутри Россіи», срокомъ на три года, говоритъ, что это ему необходимо для окончанія «Мертвыхъ Душъ», гдѣ будетъ «выставлено наружу все здоровое и крѣпкое въ нашей природѣ», и что въ тотъ же срокъ онъ, кромѣ того, можетъ исполнить и другой, не менѣе важный, трудъ. Дѣло идетъ о книгѣ, «за которую многіе отцы семейства скажутъ» ему «спасибо»: «намъ нужно живое, а не мертвое изображеніе Россіи, та существенная, говорящая ея географія, начертанная сильнымъ, живымъ слогомъ, которая поставила бы русскаго лицомъ къ Россіи еще въ то первоначальное время его жизни, когда онъ еще отдается во власть гувернеровъ—иностранцевъ, но когда всѣ его способности свѣжѣе, чѣмъ когда-либо потомъ, а воображеніе чутко и удерживаетъ навѣки все, что ни поражаетъ его. Такую книгу (мнѣ всегда казалось) могъ составить только такой писатель, который умѣетъ схватывать вѣрно и выставлять сильно и выпукло черты и свойства *народа* [1]), а всякую *мѣстность* [1]) (тоже) со всѣми ея красками выставлять такъ живо, поставлять такъ ярко, чтобы она навсегда осталась въ глазахъ,—который, наконецъ, имѣлъ бы способность

---

[1]) Курсивъ подлинника.

сосредоточивать сочиненіе въ одно слитное цѣлое такъ, чтобы вся земля отъ края до края, со всею особенностью своихъ мѣстностей, свойствами кряжей и грунтовъ врѣзалась бы, какъ живая, въ память даже несовершеннолѣтняго отрока, и было бы ему очевидно даже и во младенчествѣ, какому углу Россіи что именно свойственно и прилично, и не шло бы ему потомъ въ голову, придя въ зрѣлый возрастъ, заводить несвойственныя ей фабрики и мануфактуры, довѣряя иностраннымъ промышленникамъ, заботящимся о временной собственной выгодѣ. И точно такимъ же образомъ, чтобы ему во младенчествѣ видны были въ настоящемъ видѣ качества и свойства русскаго народа, со всѣмъ разнообразіемъ особенностей, какими отличаются его вѣтви и племена. Чтобы еще во младенчествѣ ему было видно, къ чему именно каждый (sic) изъ этихъ племенъ способенъ вслѣдствіе орудій и силъ, ему данныхъ, и обращалъ бы онъ вниманіе потомъ, когда приведетъ его Богъ въ зрѣломъ возрастѣ сдѣлаться государственнымъ человѣкомъ, на особенности каждаго изъ нихъ, уважалъ бы обычаи, порожденные законами каждой *мѣстности* [1]), и не требовалъ бы повсемѣстнаго выполненія того, что хорошо въ одномъ углѣ и дурно въ другомъ.—Книга эта составляла давно предметъ моихъ размышленій. Она зрѣетъ вмѣстѣ съ нынѣшнимъ моимъ трудомъ [2]) и, можетъ быть, въ одно время съ нимъ будетъ готова. Въ успѣхѣ ея я надѣюсь не столько на свои силы, сколько на любовь къ Россіи, слава Богу, безпрестанно во мнѣ увеличивающуюся...» (опубликовано впервые профессоромъ И. А. Линиченко въ «Рус. Мысли» 1896 г., кн. 5-ая.—«Письма Н. В. Гоголя» подъ ред. В. И. Шенрока, т. IV, стр. 344—345).

Этотъ въ высокой степени любопытный документъ говоритъ самъ за себя. Разумѣется, планъ «отчизновѣдѣ-

---

[1]) Курсивъ подлинника.

[2]) Окончаніе „Мерт. Душъ“.

нія», здѣсь набросанный, не могъ быть выполненъ въ то время ни Гоголемъ, ни кѣмъ либо другимъ.—Но какая вѣрная мысль, какая здравая постановка вопроса, и все это въ эпоху [1]), когда Гоголь, погруженный въ помыслы о загробной жизни, казалось, былъ такъ далекъ отъ всего земного, такъ чуждъ вопросамъ времени и пониманію задачъ жизни!..

Сейчасъ увидимъ, что самый поворотъ въ сторону крайняго мистицизма совмѣщался у Гоголя съ постановкою и даже своеобразнымъ рѣшеніемъ той личной задачи, которую мы называемъ стремленіемъ осуществить свою общественную стоимость.

VI.

Неосуществленная общественная стоимость, сказали мы, есть бремя неудобоносимое, и когда человѣкъ видитъ всю невозможность ея осуществленія, тогда нерѣдко его душа, именно его будничная, повседневная, прозаическая душа обывателя, наполняется горькими чувствами обиды, оскорбленнаго честолюбія, отравляется сознаніемъ, что онъ ненуженъ, что онъ лишній, и своеобразно-враждебно настраивается въ отношеніи къ данной—родной—средѣ. И чѣмъ ближе и дороже человѣку эта среда, тѣмъ болѣе обостряется эта специфическая «вражда». И, смотря по человѣку, цѣлая гамма разныхъ дополнительныхъ или производныхъ чувствъ возникаетъ на почвѣ такого разлада личности съ ея общественною средой. Мы находимъ здѣсь и жалкія, мелкія, но при всемъ томъ нерѣдко въ самомъ дѣлѣ жестокія, буднично-мелодраматическія страданія обывателя-неудачника, не сумѣвшаго стать единицею въ своемъ муравейникѣ, потому что даже и для этого муравейника онъ—«не настоящій» человѣкъ; мы находимъ здѣсь и приподнятыя, аффектированныя душевныя движенія «непонятыхъ» натуръ, и болѣе или менѣе искреннюю поддѣлку

---

[1]) Документъ относится къ 1850-му году.

подъ участь неоцѣненнаго, осмѣяннаго «дѣятеля», или гонимаго «обличителя», пародію на тѣхъ, о комъ по праву можно сказать, что они—«не пророки въ своемъ отечествѣ», и настоящую трагедію «лишнихъ людей», и наконецъ истинно-высокія страданія гражданина, а чаще всего — тупую тоску, унылую скуку ненужнаго, безцѣльнаго существованія человѣка, у котораго нѣтъ никакого другого призванія, кромѣ какъ быть единицею въ общественномъ цѣломъ, и которому пришлось быть нулемъ...

Но возможенъ и иной исходъ: натуры сильныя и «полныя собою», съ богатымъ внутреннимъ содержаніемъ, нерѣдко, при невозможности осуществить свою общественную стоимость въ данной средѣ, при данныхъ условіяхъ мѣста и времени, стремятся либо передѣлать эту среду по-своему, либо искусственно создать для себя новую среду, или, наконецъ, берутся за то, и за другое вмѣстѣ. Это— реформаторы разнаго рода, проповѣдники — моралисты, основатели религіозныхъ и иныхъ сектъ. При такомъ исходѣ тѣ чувства, на которыя мы только что указали, не застаиваются въ душѣ человѣка, и онъ быстро переходитъ отъ унынія, тоски, скуки, мелкой или немелкой «вражды» и т. д. къ иному порядку чувствъ. Его душа становится ареною новыхъ движеній чувствъ, страстей и мысли, движеній болѣе или менѣе творческаго, зиждительнаго характера. На этомъ пути жажда общественныхъ связей незамѣтно переходитъ въ жажду вліять на людей, подчинять умы и сердца своему нравственному авторитету, и честолюбіе, какъ чувство-симптомъ, уступаетъ мѣсто властолюбію.

Такой именно оборотъ и приняли общественно-психологическія отношенія Гоголя, но только у него весь процессъ сильно осложнился, во-первыхъ, перекрестнымъ дѣйствіемъ его геніальнаго художественнаго дарованія, его призванія, какъ великаго національнаго поэта, а во-вторыхъ, тою темнотою его ума, той ирраціональностью его мышленія, въ силу которыхъ онъ не могъ правильно по-

ставить свою лично-общественную задачу и сталъ жертвою крайняго мистицизма.

Здѣсь, въ этой главѣ, насъ интересуетъ первое, т.-е. перекрестное дѣйствіе его художественнаго дарованія и соотвѣтствующаго ему призванія великаго національнаго поэта сатирика.

Это дѣйствіе выразилось въ томъ, что безсознательно, инстинктивно Гоголь, если можно такъ выразиться, «ухватился» за свое великое національное значеніе, какъ за суррогатъ общественнаго значенія,—онъ, смѣшавъ національное съ общественнымъ, сталъ смотрѣть на свое дѣло художника, какъ на орудіе осуществленія своей общественной стоимости. Работая надъ «Мертвыми Душами» и поэтически созерцая Русь изъ прекраснаго далёка, онъ лелѣялъ мысль, или, скорѣе, иллюзію, будто тѣмъ самымъ онъ становится непосредственнымъ участникомъ общественной (въ обширномъ смыслѣ) жизни своего отечества, входитъ органическимъ звеномъ въ ту соціальную среду, которую онъ называлъ «Русью». Несомнѣнное—и огромное въ своихъ послѣдствіяхъ—*общественное* значеніе его сатиры, какъ понимали это лучшіе умы времени (сперва Пушкинъ, потомъ Аксаковы, Бѣлинскій, Анненковъ, Тургеневъ и др.), было ему самому далеко не ясно, и во всякомъ случаѣ не на немъ онъ могъ осуществить свою общественную стоимость. Этой стороной своей дѣятельности онъ пріобрѣлъ великое имя и производилъ обаяніе, равносильныя тѣмъ, какія были удѣломъ Пушкина, въ передовыхъ кругахъ, западническомъ и славянофильскомъ; но для него это было ничтожнымъ суррогатомъ, которымъ онъ весьма мало дорожилъ. Онъ хотѣлъ чувствовать свой «соціальный вѣсъ» въ обширномъ цѣломъ, именуемомъ Русью, онъ стремился стать единицею въ государствѣ, а не въ ничтожныхъ численностью своихъ членовъ передовыхъ кружкахъ: онъ не въ силахъ былъ понять огромное значеніе этихъ кружковъ въ дѣлѣ созданія нашего общественнаго и національнаго самосознанія,—да

впрочемъ, если бы онъ и понималъ это, кружки мыслящихъ людей, все равно, не могли служить для него тою *соціальною средой*, въ которой онъ нуждался для осуществленія своей общественой стоимости. И вообще «общество» того времени (а не только передовые круги) не годилось ему для этой—личной—цѣли: слишкомъ было оно ничтожно и безсильно. Только *государство*, которое, обнимая всю Русь, было тогда единственною авторитетною, властною, дѣйствующею и живущею «соціальною средой», являлось въ его глазахъ стихіей, гдѣ могъ опредѣлиться «удѣльный вѣсъ» его личности. Въ передовыхъ кругахъ, какъ западническомъ, такъ славянофильскомъ, ему было тѣсно, и онъ тянулся къ государству, не замѣчая, или, можетъ быть, не желая замѣчать, что тамъ ему сиротливо, пожалуй даже совсѣмъ нѣтъ мѣста. Не замѣчалъ онъ этого, и ему казалось, будто онъ, какъ авторъ «Ревизора» и «Мертвыхъ Душъ», являясь поэтомъ національнымъ, какъ бы состоитъ на государственной службѣ, точно это казенныя торжественныя оды. И, правду сказать, своего рода торжественной одой,—только, разумѣется, не казенный, звучатъ знаменитыя лирическія мѣста въ XI-ой главѣ первой части «Мертвыхъ Душъ». Тамъ воспѣвается необъятный просторъ Руси («грозно объемлетъ меня могучее пространство...»), «чудная, сверкающая даль», быстрое, головокружительное «движеніе» Руси, конечно, прежде всего, какъ государства («Русь, куда жъ несешься ты?.. Летитъ мимо все, что ни есть на землѣ, и, косясь, постараниваются и даютъ ей дорогу другіе народы и государства»). Но изъ-за поэтическаго образа этого государства уже явно пробивалась національность, именно *общерусская*,—неофиціальная, а живая, подлинная, та, которая находитъ свое лучшее выраженіе въ высшемъ творчествѣ. Вопросы: «Русь! чего же ты хочешь отъ меня? Какая непостижимая связь таится между нами?» и далѣе: «Что пророчитъ сей необъятный просторъ? Здѣсь ли, въ тебѣ ли, не родиться безпредѣльной мысли, когда ты

сама безъ конца...», относятся уже не къ государству, а къ *національному* цѣлому, и въ нихъ прежде всего проявилось чувство національнаго тяготѣнія великаго поэта къ этому цѣлому.

Мы видимъ здѣсь два цѣлыхъ—*государство* и *національность*, но не усматриваемъ третьяго—*общества*. За отсутствіемъ или неразличеніемъ послѣдняго, общественная стоимость великаго поэта могла осуществиться только въ первомъ, и онъ, подставляя свое національное тяготѣніе на мѣсто общественнаго, лелѣялъ мечту встать «единицею» въ средѣ государственной. И чѣмъ больше подвигался онъ въ своемъ вдохновенномъ трудѣ, тѣмъ больше укрѣплялся онъ въ мысли, что дѣлаетъ дѣло, имѣющее государственную важность, во всякомъ случаѣ такое, которому правительство должно покровительствовать. Быть можетъ, благосклонное отношеніе Николая Павловича къ «Ревизору» заронило въ душу Гоголя первое семя этой горделивой идеи, которое сперва прозябало въ тиши и дало плодъ позже, когда, оканчивая первую часть «Мертвыхъ Душъ», поэтъ завязывалъ связи съ извѣстнымъ кругомъ высокопоставленныхъ лицъ (Смирнова, граф. А. П. Толстой, Вьельгорскіе) и писалъ имъ тѣ письма, изъ которыхъ потомъ и составилась пресловутая книга «Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями». Не лишне отмѣтить также, что въ его ходатайствахъ о пособіи, при всемъ почтительно-просительномъ тонѣ, звучитъ увѣренность, что онъ имѣетъ право на поощреніе и поддержку со стороны государства [1]).

---

[1]) Напр., въ письмѣ къ гр. С. С. Уварову (1840 г.): „почему знать, можетъ быть, несмотря на мой трудный и тернистый путь, суждено бѣдному имени моему достигнуть потомства. И ужели вамъ будетъ пріятно, когда правосудное потомство, отдавъ вамъ должное за ваши прекрасные подвиги для наукъ, скажетъ въ то же время, что вы были равнодушны къ созданіямъ рускаго слова и не тронулись положеніемъ бѣднаго, обремененнаго болѣзнями, писателя, не могшаго найти себѣ угла и пріюта въ мірѣ, тогда какъ вы первые могли бы быть его заступникомъ и меценатомъ...“ и т. д.

И постепенно «Русь», объектъ его художественнаго творчества, излюбленный предметъ его поэтическихъ созерцаній, превращалась для него въ государственно-національную среду, гдѣ онъ стремился стать единицею и даже *дѣйствующею силою*, орудіемъ которой должна была служить моральная проповѣдь. Этимъ путемъ онъ и думалъ претворить «непостижимую связь», которая «таилась» между нимъ и Русью, въ ту вполнѣ постижимую, осязательную, живую связь личности съ цѣлымъ, которую мы называемъ осуществленіемъ общественной стоимости человѣка. Излишне пояснять, что для установленія *такой связи*, чтобы она не осталась чистой иллюзіей, необходимо было сперва завязать живыя, душевныя, интимныя отношенія съ болѣе тѣснымъ кругомъ лицъ, которыя могли бы явиться посредствующимъ звеномъ между великимъ поэтомъ-моралистомъ и великимъ государственнымъ цѣлымъ и стать проводниками предполагаемаго воздѣйствія писателя на эту обширную соціальную среду. Въ тѣсномъ кругѣ высокопоставленныхъ лицъ должна была совершиться, такъ сказать, *предварительная проба общественной стоимости* національнаго поэта—*уже не просто какъ обывателя, а какъ своеобразнаго дѣятеля, гражданина и патріота.* Такимъ путемъ *предварительной пробы въ тѣсномъ кругѣ* обыкновенно и идутъ къ своей цѣли великіе реформаторы, основывающіе секты и поднимающіе великія движенія, которымъ суждено развернуться въ обширной, государственной или національной, средѣ. Тѣмъ же путемъ направляются и тѣ, которые только мнятъ себя реформаторами и выступаютъ съ идеями, несогласуемыми съ задачами общественнаго прогресса. Ихъ дѣятельность, по необходимости, будетъ только пародіею на дѣятельность настоящихъ реформаторовъ. Нашему великому поэту и пришлось разыграть такую пародію...

Дальше «предварительной пробы» онъ не пошелъ и не могъ пойти. Производилась же она въ кружкѣ морально и религіозно настроенныхъ лицъ,—Вьельгорскихъ, Тол-

стыхъ, Смирновыхъ и др., гдѣ его проповѣдь, его мысли и наставленія встрѣчали созвучный откликъ, гдѣ устанавливались живыя связи взаимнаго пониманія и сочувствія. Здѣсь впервые Гоголь почувствовалъ себя «величиною общественною», а такъ какъ члены кружка были особы высокопоставленныя, которымъ, казалось, открывалась полная возможность, путемъ государственной службы, дѣйствовать на широкомъ соціальномъ поприщѣ, именуемомъ Русью, то сама собою навязывалась великому поэту иллюзія—стать, черезъ посредство даннаго интимнаго кружка, великою дѣйствующею силою на Руси, вліять на ходъ вещей, искоренять неправду, чуть ли не совершить чудо превращенія Чичиковыхъ, Собакевичей, Ноздревыхъ, Плюшкиныхъ и пр.—въ людей добра и правды... Это иллюзія въ свою очередь вліяла на дальнѣйшее развитіе замысла «Мертвыхъ Душъ», и въ перспективѣ уже возникали фантастическіе образы, кающагося Чичикова, нравственно преображеннаго Плюшкина, пожалуй даже душевно-изящнаго Собакевича... Уже созидались «положительные» типы въ родѣ пресловутаго Констанжогло... Неудивительно, что поэтъ два раза жегъ свои рукописи.

Въ эти тяжелые—не для одного Гоголя—годы (вторая половина 40-хъ и начало 50-хъ) внутренній міръ великаго художника являлъ слѣдующую «картину» своего рода «болѣзни сознанія»: пристально и напряженно всматривается онъ въ свою собственную душу, онъ «полонъ собою» и чутко слѣдитъ за ходомъ своего «душевнаго дѣла», и вмѣстѣ съ тѣмъ столь же напряженно и пристально созерцаетъ онъ Россію, но уже не столько въ качествѣ художника, сколько въ качествѣ своеобразнаго гражданина-моралиста, и пишетъ о томъ, какъ «нужно любить Россію», о томъ, что «нужно проѣздиться по Россіи», о благотворной дѣятельности лицъ высокопоставленныхъ, направленной на улучшеніе нравовъ, на искорененія разныхъ беззаконій, объ обязанностяхъ помѣщика, о томъ, «что такое губернаторша»... Извѣстная книга («Вы-

бранныя мѣста»), гдѣ все это изложено, явилась печальнымъ памятникомъ этого періода жизни великаго поэта... И даже теперь, когда мы можемъ спокойно и объективно судить о ней, мы все еще, перечитывая ее, невольно вспоминаемъ ставшія классическими слова Базарова: «я сегодня прескверсно себя чувствую, точно начитался писемъ Гоголя къ калужской губернаторшѣ». Недавнія попытки реабилитировать эту книгу еще печальнѣе ея самой... Но въ оправданіе Гоголя, кромѣ всего вышесказаннаго, можно еще отмѣтить его полную искренность: ни въ какомъ смыслѣ здѣсь онъ не лгалъ, не притворялся, и въ самомъ дѣлѣ такъ думалъ, такъ вѣрилъ, такъ понималъ вещи, какъ это изложено въ книгѣ [1]).

Изданіемъ этой книги онъ думалъ сдѣлать рѣшительный шагъ впередъ въ своихъ стремленіяхъ осуществить свою общественную стоимость. И, конечно, ни на шагъ не подвинулся дальше... Ею онъ выходилъ изъ тѣснаго, интимнаго круга, гдѣ уже была сдѣлана «предварительная проба», и очутился въ непріятномъ, грозно-объемлющемъ» пространствѣ, на «снѣгомъ занесенной станціи», и съ потрясающимъ разочарованіемъ, почти съ отчаяніемъ долженъ былъ убѣдиться въ неизбѣжномъ крушеніи своихъ замысловъ и въ непригодности, въ недѣйствительности своей моральной проповѣди.

Тѣмъ не менѣе эта проповѣдь остается по-своему важнымъ фактомъ какъ въ психологіи самого Гоголя, такъ и въ историческомъ движеніи русской литературы. Къ разсмотрѣнію этой стороны дѣла, къ изученію Гоголя-моралиста, мы и должны обратиться теперь.

---

[1]) Окончательное выясненіе искренности Гоголя въ данномъ случаѣ составляетъ одну изъ многихъ заслугъ Шенрока (см. преимущественно въ IV-мъ томѣ Матеріаловъ).

Глава IV.

„Душевное дѣло“.—Гоголь—моралистъ и мистикъ.

I.

Нравственное присуще (имманентно) *художественному*, ибо искусство есть процессъ познанія человѣка и человѣчности, а нравственное—по преимуществу и специфически человѣчно. Въ каждомъ сколько-нибудь значительномъ созданіи искусства уже дана, въ большинствѣ случаевъ непреднамѣренно и наивно, та или иная проблема этики. Одна изъ важнѣйшихъ творческихъ силъ искусства, *симпатическое воображеніе*, служитъ вмѣстѣ съ тѣмъ и основаніемъ нравственныхъ отношеній человѣка къ человѣку.

Но отъ этой этики, присущей искусству, нужно отличать тѣ, такъ сказать, нарочитыя моральныя стремленія, которыя мы видимъ у нѣкоторыхъ художниковъ проявляющимися внѣ ихъ творчества или же, хотя и вмѣстѣ съ творчествомъ, но такъ, что мы ясно различаемъ въ нихъ художника съ одной стороны и моралиста—съ другой.

У насъ въ творчествѣ Пушкина, Тургенева, Гончарова и друг. мы имѣемъ этику, присущую искусству, но при всей важности и глубинѣ нравственныхъ проблемъ, данныхъ въ ихъ произведеніяхъ, никому и въ голову не придетъ говорить объ этихъ поэтахъ, какъ о моралистахъ въ тѣсномъ смыслѣ. Но зато, наприм., у Достоевскаго, у Льва Толстого моралистъ-проповѣдникъ явственно виденъ, во-первыхъ, въ самомъ художникѣ, а кромѣ того, выступаетъ и самостоятельно, въ ихъ нехудожественныхъ, «прозаическихъ» произведеніяхъ.

Къ этому-то типу принадлежитъ и Гоголь. Онъ былъ у насъ первымъ по времени представителемъ морализующаго направленія въ искусствѣ и своеобразной—морализирующей—публицистики.

И прежде всего въ этой сторонѣ его дѣятельности бро-

сается въ глаза одна, повидимому, характерная для насъ, русскихъ, черта,—та самая, которая какъ нельзя лучше обозначается имъ же придуманнымъ терминомъ: «*свое душевное дѣло*». Въ самомъ дѣлѣ, наши художники-моралисты, выступая съ нравственною проповѣдью, прежде всего и въ сущности заняты «своимъ душевнымъ дѣломъ», раскрываютъ намъ свой внутренній міръ, «каются», стремятся къ самовоспитанію,—однимъ словомъ, ставятъ и преслѣдуютъ свою личную нравственную задачу. Оттуда столь характерныя для нихъ признанія, «исповѣди», критика своей жизни и дѣятельности, иногда отрицаніе этой послѣдней, исканіе новаго пути и новыхъ нравственныхъ истинъ и т. д.

Это, можно сказать, особая «школа» или особое—и очень важное—теченіе въ нашей художественной литературѣ, зачинателемъ котораго былъ Гоголь. Въ ряду представителей «школы», послѣ Гоголя, мы находимъ великія имена—*Достоевскаго*, *Глѣба Успенскаго*, *Льва Толстого*.

Эти писатели, подобно Гоголю, выступили въ литературѣ съ «своимъ душевнымъ дѣломъ». Ихъ характерная черта, которою они, объединяясь, отличаются отъ другихъ дѣятелей нашего искусства (Пушкинъ, Тургеневъ, Гончаровъ, Писемскій и друг.), состоитъ въ томъ, что, кромѣ обязательныхъ для всякаго художника «*мукъ слова*», они въ своемъ творчествѣ (да и внѣ его) переживаютъ еще—для художника вовсе необязательныя—«*муки совѣсти*» [1]).

Человѣкъ можетъ испытывать муки совѣсти какъ потому, что онъ—большой грѣшникъ, такъ и потому, что онъ—большой праведникъ, а чаще всего оттого, что его совѣсть есть аппаратъ, въ достаточной степени чувствительный, чутко отзывающійся на всѣ воздѣйствія, способныя оскор-

---

[1]) О „мукахъ слова“, какъ необходимомъ элементѣ или спутникѣ творчества, трактуетъ превосходная, глубокая по мысли и блестящая по формѣ статья *А. Г. Горнфельда* „Муки слова“ въ „Сборн. Рус. Богатства“, 1899 г.

бить нравственное чувство, откуда бы они ни шли: отъ самого ли субъекта, или отъ другихъ людей, отъ окружающей среды. Но обязательныя въ личной жизни, въ живой дѣятельности души, эти муки совѣсти вовсе не обязательны въ искусствѣ, въ художественномъ творчествѣ. Никто не откажетъ, наприм., Пушкину или Тургеневу въ дарѣ тонко-развитаго нравственнаго чувства, въ чуткомъ аппаратѣ совѣсти, но гдѣ же у нихъ слѣды *мукъ совѣсти—какъ элемента или какъ одной изъ пружинъ творчества?* Весьма возможно, что у нихъ этого рода душевныя муки являлись прецедентомъ творчества, но въ самомъ процессѣ его онѣ не разгорались, а потухали. Какъ человѣкъ, какъ нравственная личность, художникъ этого типа можетъ испытывать острую душевную боль, настоящую скорбь души отъ сознанія своихъ и чужихъ несовершенствъ, а всего чаще при видѣ всяческихъ неправдъ, безобразій, пошлости въ окружающей средѣ; къ рѣдкимъ впечатлѣніямъ жизни не примѣшивается доля горечи, недовольства, стыда за себя, за другихъ,—и у натуръ съ тонкою и сложною душевною организаціей, каковы художники, опытъ жизни рѣдко обходится безъ томленія нравственнаго «я» человѣка, безъ—порою острой, порою глухо-ноющей—боли души. Эти тягостныя душевныя состоянія могутъ у одного занимать больше мѣста въ жизни, у другого меньше; у одного и того же субъекта они могутъ измѣняться съ годами въ ту или другую сторону. Но каково бы ни было значеніе этой тяготы душевной въ личной интимной жизни человѣка, она легко можетъ быть снята съ души въ процессѣ высшей умственной дѣятельности вообще, въ художественномъ творчествѣ въ частности. Повидимому, въ большинствѣ случаевъ такъ и бываетъ. Высшая работа мысли ученаго, философа, художника очищаетъ душу отъ всякой накипи жизни... Оттуда извѣстный взглядъ на искусство, какъ на дѣятельность, которая умиротворяетъ душу. Въ процессѣ творчества происходитъ *собираніе* души, раздробляемой по-

вседневною психическою жизнью, сосредоточеніе, объединеніе душевныхъ силъ, и неудивительно, что тутъ исчезаетъ всякій внутренній разладъ, въ томъ числѣ и тотъ, который связанъ съ «муками совѣсти». И художникъ, какимъ бы «мученикомъ совѣсти» онъ ни былъ въ своей личной жизни, перестаетъ мучиться, когда творитъ, хотя бы объектомъ его творчества и были эти самыя муки. Мы узнаемъ это по его произведеніямъ, въ которыхъ мы не усматриваемъ признаковъ внутренняго томленія, душевной тревоги, судорожныхъ порывовъ, исканій,—всего, чѣмъ характеризуется творящая мысль, когда она *внутренно не свободна,* а такъ или иначе связана вѣчно бодрствующими муками совѣсти или отравлена ядомъ внутренняго разлада, нравственныхъ укоровъ, душевныхъ недоумѣній, томленія нравственнаго чувства.

Вотъ именно такую картину *связаннаго творчества,*— картину *отравленной мысли* и являетъ намъ художественная (и нехудожественная) дѣятельность тѣхъ писателей, которыхъ мы называемъ «*художниками-моралистами и исповѣдниками*». Суть дѣла здѣсь не въ томъ собственно, что они ставятъ нравственныя задачи и отъ искусства переходятъ къ моральной проповѣди,—суть дѣла здѣсь въ томъ, что *у нихъ само художественное творчество не обладаетъ полнотою «внутренней свободы»*, что на ихъ художественныхъ созданіяхъ, какъ бы они ни были совершенны, и вообще на ихъ умственной дѣятельности лежитъ отпечатокъ внутренней тревоги и, съ бо́льшею или меньшею ясностью, видны слѣды ихъ личнаго «душевнаго дѣла».

Возьмемъ Толстого: уже въ первыхъ его произведеніяхъ (въ «Дѣтствѣ», «Отрочествѣ», «Юности», «Казакахъ») ясно чувствуется, что художникъ занятъ какимъ-то своимъ— интимнымъ, строго-личнымъ—вопросомъ и что этотъ вопросъ есть задача нравственная; видно также и то, что художникъ еще не рѣшилъ ея, что она продолжаетъ если не мучить, то вообще занимать его: онъ все ходитъ вокругъ

да около недоумѣній своего нравственнаго сознанія. Но это отнюдь не мѣшаетъ созданнымъ образамъ и картинамъ быть истинно-художественными. Но когда онъ отъ поэзіи образовъ перейдетъ къ прозаическому мышленію (IV томъ), тогда «внутренняя тревога» помѣшаетъ его мыслямъ, какъ бы онѣ ни были значительны и даже порою геніальны, быть истинно-философскими. Очевидно, въ противоположность наукѣ и философіи, искусство не боится «мукъ совѣсти» и всякой душевной боли, не терпитъ ущерба отъ недоумѣній и противорѣчій нравственнаго сознанія. Съ особливой наглядностью обнаруживается это въ «Войнѣ и Мирѣ» и «Аннѣ Карениной», гдѣ огромная высота художественнаго творчества такъ причудливо совмѣщается съ тою его «несвободною», о которой мы говоримъ. Вопросы личнаго нравственнаго сознанія продолжаютъ занимать и тревожить художника, выражаясь въ психологіи князя Андрея и Пьера Безухова, въ оцѣнкѣ событій, въ освѣщеніи фигуръ Кутузова и Наполеона, въ созданіи Каратаева, въ своеобразной «философіи исторіи»; далѣе (въ «Аннѣ Карениной») въ изображеніи идей и настроеній Левина, въ нравственной оцѣнкѣ другихъ лицъ и т. д.

Какъ бы мы ни судили о художественныхъ достоинствахъ и недостаткахъ произведеній *Достоевскаго*, не подлежитъ сомнѣнію его огромное творческое дарованіе въ предѣлахъ изображенія извѣстныхъ сторонъ души человѣческой. Въ *своей* области онъ, можно сказать, не имѣетъ соперниковъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ очевидно, что его творчество было далеко не свободно,—оно было сковано вопросами и муками его личнаго нравственнаго сознанія, откуда возникала и своеобразная моральная проповѣдь-публицистика, особливо ярко выразившаяся въ «Дневникѣ писателя».

Въ лицѣ *Глѣба Успенскаго* мы имѣемъ первостепеннаго художника, который въ своемъ творчествѣ не могъ и шагу ступить безъ того, чтобы не поднять того или

иного вопроса своей личной совѣсти, необычайная чуткость которой достаточно извѣстна. Недавно В. Г. Короленко въ высоко-художественномъ очеркѣ («Воспоминанія о Г. И. Успенскомъ», «Русск. Бог.», 1902 г., кн. 5) съ изумительною ясностью раскрылъ намъ тайну этой прекрасной души,—души мученика за чужіе грѣхи, и показалъ, какъ фактически тѣсно связывалось художественное творчество Успенскаго съ муками его совѣсти, чистой, какъ кристаллъ, съ великою скорбью его сердца и мысли. «Публицистика» Успенскаго была въ существѣ дѣла «моральною проповѣдью», вышедшей изъ глубины его творчества, какъ «Дневникъ писателя» выдѣлился изъ творчества Достоевскаго, какъ морально-религіозная доктрина Толстого развилась изъ этики его художественныхъ созерцаній.

II.

Если взять чисто-художественныя произведенія Гоголя (собственно «Ревизора» и «Мертвыя Души») и сопоставить ихъ съ таковыми же произведеніями другихъ нашихъ художниковъ-моралистовъ, то прежде всего бросится въ глаза слѣдующая особенность Гоголя: *у него моралистъ заслоненъ сатирикомъ,* и не будь въ нашемъ распоряженіи «Авторской исповѣди», «Выбранныхъ мѣстъ» и огромнаго матеріала писемъ, мы едва ли и догадались бы, что, создавая Хлестакова, Чичикова, Манилова, Ноздрева и такъ дал., великій поэтъ задавался вопросами своего нравственнаго сознанія и преслѣдовалъ какія-то моральныя задачи.

Теперь мы знаемъ, что Гоголь довольно рано сталъ задумываться надъ вопросами своего нравственнаго развитія, и уже не можемъ сомнѣваться въ справедливости его признанія, что, выставляя на всеобщее посмѣяніе разныя «мерзости» или «гадости», онъ стремился самъ избавляться отъ нихъ, что онъ исправлялъ самого себя [1]).

---

[1]) Относящіяся сюда цитаты изъ „Выбранныхъ мѣстъ“ см. въ I-ой главѣ этого этюда.

Это подтверждается между прочимъ созданіемъ фигуры Хлестакова. Какъ было уже упомянуто, въ характерѣ Гоголя были черты въ своемъ родѣ «хлестаковскія». При извѣстной вдумчивости Гоголя, при его вѣчномъ стремленіи вникать въ свой внутренній міръ, замыселъ Хлестакова необходимо долженъ былъ сопровождаться постановкою соотвѣтственной лично-нравственной задачи. Создавъ образъ Хлестакова, Гоголь лучше созналъ ту долю или тотъ родъ хлестаковщины, который былъ у него самаго, и, несомнѣнно, сдѣлалъ шагъ впередъ въ дѣлѣ нравственнаго самосознанія и самовоспитанія.

Но тутъ же появилась и другая сторона творчества великаго поэта, въ высокой степени важная для пониманія его, какъ художника-моралиста, заслоненнаго сатирикомъ. *Это именно тотъ фактъ, что Хлестаковъ вышелъ типомъ національнымъ:* въ этомъ образѣ дана злая критика извѣстныхъ чертъ нашей—русской—національной психики. То же самое нужно сказать и о большинствѣ другихъ типовъ, созданныхъ Гоголемъ. Изъ его писемъ и признаній (наприм., въ «Авторской исповѣди») достаточно извѣстно, что всего болѣе интересовался онъ, какъ художникъ, *національной психологіей русскаго человѣка.* Большой мастеръ улавливать различныя черты нашей, русской, національной складки и новадки, онъ почти непроизвольно превращалъ свои бытовые типы въ національные. А такъ какъ это бытовые типы (чиновниковъ, помѣщиковъ и пр.) были продуктомъ не чистаго наблюденія, а художественнаго *эксперимента*, въ которомъ сгущались и выступали наружу *черты отрицательныя* (экспериментаторъ былъ моралистъ-сатирикъ), то и *національные признаки* получили въ этихъ образахъ характеръ *отрицательныхъ качествъ, недостатковъ, даже пороковъ.* И въ результатѣ вышло не только изображеніе отрицательныхъ сторонъ русской дѣйствительности въ данную эпоху, но вмѣстѣ съ тѣмъ получилась картина искривленія національной физіономіи, геніальная ху-

дожественная картина, на которой русская національная психика представлена со стороны всего пошлаго, мелочного, нравственно-несостоятельнаго, что наблюдается въ русскомъ чиновникѣ и, въ существѣ дѣла, принадлежитъ не ей, а ему. Такимъ образомъ лганье Хлестакова, грубость Собакевича, слащавость Манилова и т. д. получили отпечатокъ особаго—русскаго—лганья, специфически-русской грубости, слащавости и т. д. Но въ ряду этихъ безсмертныхъ фигуръ по преимуществу національными должны быть признаны Хлестаковъ, Чичиковъ, Ноздревъ, Сквозникъ-Дмухановскій, Тентетниковъ, генералъ Бетрищевъ, Пѣтухъ, о которыхъ съ полнымъ правомъ можно сказать: «здѣсь русскій духъ, здѣсь Русью пахнетъ...» И, въ нравственномъ смыслѣ, вовсе не такъ скверно пахнетъ, какъ кажется съ перваго взгляда. Дѣло въ слѣдующемъ: національныя черты—не качества (хорошія или дурныя), а *свойства*, въ этическомъ отношеніи безразличныя [1]) но художникъ-экспериментаторъ, въ интересахъ художественнаго познанія, имѣетъ право дать имъ такую обработку и такое освѣщеніе, что онѣ явятся уже не безразличными свойствами, а опредѣленными качествами, подлежащими нравственной оцѣнкѣ. Люди, одержимые національнымъ самомнѣніемъ и шовинизмомъ, всегда склонны въ подобныхъ случаяхъ обвинять художника во лжи и клеветѣ. Излишне опровергать ихъ,—достаточно замѣтить, что это—«ложь и клевета» микроскопа, который показываетъ въ чудовищно-увеличенномъ видѣ то, что въ дѣйствительности существуетъ въ микроскопически-маломъ видѣ. Но нелишне указать на то, что и сама жизнь спорадически производитъ своего рода «эксперименты», аналогичные художественнымъ: она создаетъ типичные экземпляры съ искривленной національной физіономіей. Такъ, Хлестаковы, Сабакевичи, Маниловы, Чичиковы, Ноз-

---

[1]) Я неоднократно высказывалъ эту мысль, см., наприм., въ книжкѣ „Л. Н. Толстой, какъ художникъ“.

древы и т. д. существовали и существуютъ, не столь «художественные», какъ у Гоголя, но во всякомъ случаѣ не уступающіе имъ въ «уродствѣ», въ искривленіи національной физіономіи. Одна изъ великихъ заслугъ экспериментальнаго искусства въ томъ и состоитъ, что оно показываетъ, какъ и при какихъ условіяхъ происходитъ въ дѣйствительности обезображеніе національной психики, какъ совершается превращеніе безразличныхъ въ нравственномъ отношеніи національныхъ чертъ въ качества, подлежащія этическому суду и осужденію. Понятно огромное значеніе такихъ художественныхъ экспериментовъ для развитія національнаго самосознанія.

При этомъ необходимо отмѣтить слѣдующее. *Національное самосознаніе осуществляется не иначе, какъ путемъ преувеличенія національныхъ чертъ.* Это преувеличеніе бываетъ двоякое: либо національныя черты представляются въ видѣ какихъ-то якобы добродѣтелей или вообще положительныхъ качествъ, либо въ видѣ якобы пороковъ или вообще качествъ отрицательныхъ. Первый путь—опасенъ: онъ ведетъ къ грѣху шовинизма, національнаго самомнѣнія. Второй путь, напротивъ, ведетъ къ самокритикѣ, просвѣтляетъ и облагораживаетъ національное чувство, предупреждаетъ возможность извращенія національныхъ чертъ и внушаетъ глубоко-вѣрную мысль о томъ, что для правильнаго развитія національной формы, для ея усовершенствованія необходимо сперва выйти на широкую, торную дорогу *общественнаго* и *умственнаго прогресса.* Самая богатая, наилучше одаренная національная психика можетъ извратиться и размѣняться на пустяки при отсутствіи здоровой общественности, при господствѣ такихъ пагубныхъ началъ, какимъ было крѣпостное право, при пустотѣ и пошлости жизни и «пугающемъ отсутствіи свѣта» [1]). Гоголь чувствовалъ и по своему понималъ это, но онъ не могъ возвыситься

---

[1]) Выраженіе Гоголя, см. въ I-ой главѣ.

до критики общественнаго строя того времени, не могъ уяснить себѣ все безобразіе крѣпостного права и несостоятельность дореформенныхъ порядковъ: при свойственной ему темнотѣ ума онъ не имѣлъ въ своемъ распоряженіи ни выработанныхъ общественныхъ понятій, ни сколько-нибудь удовлетворительнаго критерія для оцѣнки формъ общественности. Но зато онъ отлично видѣлъ порчу («искривленіе») національной психики,—онъ видѣлъ, онъ живо чувствовалъ эту порчу—*какъ моралистъ по натурѣ.* Его нравственное чувство оскорблялось не прямо безобразіемъ строя жизни, а душевными уродствами русскихъ людей; ему казалось, будто эти уродства вообще присущи русскому человѣку, какъ таковому, т.-е. онъ возводилъ ихъ на степень русскихъ *національныхъ* признаковъ. И его геніальная сатира являлась, въ его глазахъ, не могучимъ орудіемъ развитія общественнаго самосознанія, а только какъ бы исповѣданіемъ національныхъ грѣховъ и призывомъ къ покаянію, къ нравственному исправленію. Въ этомъ отношеніи весьма характерно для Гоголя одно изъ слабѣйшихъ его произведеній—«Развязка Ревизора», гдѣ дано аллегорическое толкованіе великой комедіи, при чемъ говорится, будто подъ городомъ, гдѣ происходитъ дѣйствіе, слѣдуетъ понимать «душевный городъ», подъ фигурами чиновниковъ—человѣческія страсти, а Хлестаковъ—это «вѣтреная свѣтская совѣсть, продажная, обманчивая совѣсть», въ то время какъ настоящая, нелицепріятная совѣсть человѣка символизируется настоящимъ *ревизоромъ*, о прибытіи котораго возвѣщается въ концѣ комедіи [1]). Подобныя же морально-аллегорическія толкованія давалъ Гоголь и «Мертвымъ Душамъ».

Здѣсь воочію обнаружился и заговорилъ своимъ языкомъ *моралистъ*, раньше остававшійся въ тѣни и говорившій языкомъ художника-сатирика.

---

[1]) См. весь заключительный монологъ „перваго комическаго актера“, а также „Дополненіе къ развязкѣ Ревизора“.

Но еще ярче и полнѣе выступаетъ этотъ *моралистъ*, вмѣстѣ съ занимающимъ его «душевнымъ дѣломъ» и съ его широкими планами художественной дѣятельности, направленной на служеніе нравственнымъ цѣлямъ, въ различныхъ мѣстахъ писемъ, въ родѣ, наприм., слѣдующихъ: «Я рѣшился собрать (въ «Ревизорѣ») все дурное, какое только я зналъ, и за однимъ разомъ надъ всѣмъ посмѣяться—вотъ все происхожденіе «Ревизора»! Это было мое первое произведеніе, замышленное съ цѣлью произвести доброе вліяніе на общество, что, впрочемъ, не удалось... Представленіе «Ревизора» произвело на меня тягостное впечатлѣніе. Я былъ сердитъ и на зрителей, меня не понявшихъ, и на себя самого, бывшаго виной тому, что меня не поняли. Мнѣ хотѣлось убѣжать отъ всего. Душа требовала уединенія и обдуманія строжайшаго своего дѣла. Уже давно занимала меня мысль *большого сочиненія* [2]), въ которомъ бы предстало все, что́ ни есть и хорошаго, и дурного въ русскомъ человѣкѣ, и обнаружилось бы передъ нами виднѣй *свойство* [1]) нашей русской природы...». Это былъ замыселъ «Мертвыхъ Душъ». Далѣе говорится о томъ, что «планъ цѣлаго никакъ не могъ выясниться и опредѣлиться», и что ему пришлось учиться «у великихъ мастеровъ постройкѣ большихъ твореній»,—и онъ принялся за нихъ, начиная съ Гомера. «Съ большими усиліями,—продолжаетъ онъ,—удалось мнѣ кое-какъ выпустить въ свѣтъ первую часть «Мертвыхъ Душъ», какъ бы за тѣмъ, чтобы увидѣть въ ней, какъ я былъ еще далекъ отъ того, къ чему стремился. Послѣ этого нашло на меня вновь безблагодатное состояніе... Я думалъ, что способность писать просто отнялась отъ меня»... Но тутъ постигли его «болѣзни и тяжкія душевныя состоянія», подъ вліяніемъ которыхъ онъ обратился къ тому, къ чему и «прежде, чѣмъ сдѣлаться пи-

---

[1]) Курсивъ Гоголя.

сателемъ, имѣлъ охоту, — къ наблюденію внутреннему надъ человѣкомъ и надъ *душой человѣческой*» [1]).

Безъ всякаго сомнѣнія, тутъ рѣчь идетъ не о тѣхъ наблюденіяхъ, которыя производятъ всѣ художники, а о тѣхъ, какія свойственны только художникамъ-моралистамъ. Это была задача «своего душевнаго дѣла»,—здѣсь подымались вопросы нравственнаго самовоспитанія. «О, какъ глубже передъ тобой раскрывается это познаніе (души человѣческой), когда начнешь дѣло съ собственной своей души!» читаемъ дальше. У Гоголя эта постановка личной нравственной задачи сопровождалась оживленіемъ его религіознаго чувства,—поэтъ впадалъ въ религіозный экстазъ и мистицизмъ. «На этомъ пути», — продолжаетъ онъ,—«поневолѣ встрѣтишься *ближе* [2]) съ Тѣмъ, Который одинъ изъ всѣхъ, доселѣ бывшихъ на землѣ, показалъ въ Себѣ полное познаніе души человѣческой...» Выраженіемъ этихъ морально-религіозныхъ настроеній и идей и явились «Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями». Неуспѣхъ этой книги показалъ Гоголю, что «не его дѣло поучать проповѣдью». «Искусство», — говоритъ онъ,—«*и безъ того уже поученіе* [3]). Мое дѣло говорить *живыми образами*, а не разсужденіями. Я долженъ выставить *жизнь* лицомъ, а не трактовать о жизни. Истина очевидная. *Но вопросъ: могъ ли бы я безъ этого большого крюку сдѣлаться достойнымъ производителемъ искусства? могъ ли бы я выставить жизнь въ ея глубинѣ такъ, чтобы она пошла въ поученіе?*» [4]).

Такими вопросами не задаются тѣ художники, которые ограничиваются этикой, присущей искусству, и не преслѣдуютъ особливыхъ моральныхъ цѣлей. Имъ чуждъ поэтому и тотъ узко-моралистическій, дидактическій взглядъ на искусство, который высказываетъ Гоголь въ слѣдующемъ мѣстѣ того же письма:

---

1) Курсивъ Гоголя.
2) Курсивъ Гоголя.
3) Курсивъ мой.
4) Курсивъ мой.

«Искусство есть водвореніе въ душу стройности и порядка, а не смущенія и разстройства. Искусство должно изобразить намъ такимъ образомъ людей земли нашей, чтобы каждый изъ насъ почувствовалъ, что это *живые люди* [1]), созданные и взятые изъ того же тѣла, изъ котораго и мы. Искусство должно выставить намъ на видъ всѣ доблестныя *народныя* [1]) наши качества, не выключая даже и тѣхъ, которыя, не имѣя простора свободно развиться, не всѣми замѣчены и оцѣнены такъ вѣрно, чтобы каждый почувствовалъ ихъ и въ себѣ самомъ и загорѣлся бы желаніемъ развить и возлелѣять въ себѣ самомъ то, что̀ имъ заброшено и позабыто. Искусство должно выставить намъ всѣ дурныя наши народныя качества и свойства такимъ образомъ, чтобы слѣды ихъ каждый изъ насъ отыскалъ прежде въ себѣ самомъ и подумалъ бы о томъ, какъ прежде съ самого себя сбросить все, омрачающее благородство природы нашей. Тогда только, и такимъ образомъ дѣйствуя, искусство исполнитъ свое назначеніе и внесетъ порядокъ и стройность въ общество» [2]).

III.

Едва ли возможно возстановить полную психологическую картину «душевнаго дѣла» Гоголя и того «самовоспитанія», о которомъ онъ такъ часто говоритъ въ своихъ письмахъ. Но мы, кажется, не ошибемся, если скажемъ, что въ основаніи «душевнаго дѣла» лежало преувеличенное, ипохондрическое представленіе о своихъ недостаткахъ, даже «грѣхахъ», большею частью воображаемыхъ. Самовоспитаніе же, сколько извѣстно, сводилось къ самоанализу, углубленію въ себя, покаянію, молитвамъ, религіознымъ упражненіямъ разнаго рода, чтенію

---

[1]) Курсивъ Гоголя.

[2]) Всѣ эти выдержки взяты изъ извѣстнаго письма къ Жуковскому $\left(\frac{1848,\ \text{генв. } 10}{1847,\ \text{декаб. } 29}\right)$, присоединеннаго къ «Выбраннымъ мѣстамъ изъ переписки съ друзьями».

душеспасительныхъ книгъ. Но все это получитъ надлежащее освѣщеніе только въ томъ случаѣ, если мы не будемъ упускать изъ виду того, что Гоголь былъ натура не только глубоко-религіозная, но и мистическая.

Онъ принадлежалъ къ тому типу вѣрующихъ, которымъ, чѣмъ они больше вѣруютъ, тѣмъ недостаточнѣе кажется ихъ вѣра. Это — религіозность мнительная и тревожная; ея отличительныя черты—жажда знаменій и чудесъ, стремленіе къ непосредственному общенію съ Божествомъ, постоянные переходы отъ смиренія и самоуничиженія человѣка къ гордому и счастливому сознанію, что Божество открывается ему, печется о немъ и таинственно ведетъ его куда-то, посылая испытанія, болѣзни, разнаго рода указанія... И человѣкъ сосредоточивается на постоянномъ, напряженномъ истолковываніи себѣ самому смысла этихъ указаній свыше...

Случится ли съ нимъ какая-нибудь бѣда, неудача, болѣзнь,—онъ уже задумывается, ломаетъ голову и старается понять, что̀ именно хотѣло сказать этимъ Божество. Его сны становятся вѣщими, — вся жизнь его обставляется таинственными символами, его умъ безсильно бьется надъ мудреною казуистикой толкованія этихъ символовъ. А если къ этой, отчасти горделивой и всегда утѣшительной, вѣрѣ въ непосредственное вмѣшательство Божества въ личную жизнь человѣка мы присоединимъ еще и другую, уничижительную и устрашающую, вѣру въ «нечистую силу», въ дьявола, который то и дѣло подстерегаетъ человѣка и изыскиваетъ всяческія средства овладѣть его душой, то и получимъ печальную картину крайняго миѳологическаго мистицизма, образчикъ котораго мы видимъ у Гоголя.

Чтобы лучше охарактеризовать этотъ миѳологически-суевѣрный родъ мистицизма, приведемъ нѣсколько выдержекъ изъ писемъ Гоголя.

Онъ вѣрилъ въ предчувствія и, мало того, готовъ былъ видѣть въ нихъ данный ему свыше «даръ пророчества».

Указанія на это мы находимъ въ его перепискѣ еще задолго до окончательнаго поворота въ сторону крайняго мистицизма. Такъ въ письмѣ къ овдовѣвшему Плетневу отъ 27 сент. 1839 г. онъ говоритъ: «Вы лишились вашей доброй и милой супруги, столько лѣтъ шедшей объ руку вашу... Знаете ли, я предчувствовалъ это, и когда я прощался съ вами, мнѣ что-то смутно говорило, что я увижу васъ въ другой разъ уже вдовцомъ. Еще одно предчувствіе, но оно еще не исполнилось, но исполнится, потому что предчувствія мои вѣрны, и я не знаю, отъ чего во мнѣ поселился теперь даръ пророчества...»

Истолкователемъ указаній, идущихъ свыше, глашатаемъ воли Божьей является Гоголь сперва и чаще всего въ письмахъ къ матери, и можно утверждать положительно, что это отнюдь не была у него только манера выражаться примѣнительно къ умственному уровню и простой вѣрѣ матери. Нѣтъ, въ данномъ случаѣ Гоголь вѣрилъ больше и крѣпче, чѣмъ вѣрятъ люди обычно-религіозные. Въ письмѣ къ матери отъ 25 янв. 1840 г. онъ говоритъ по поводу затруднительнаго матеріальнаго положенія его семьи: «Намъ грозитъ крайность. Это значитъ — насъ Богъ вызываетъ на битву. Онъ хочетъ поглядѣть на насъ, какъ мы пройдемъ по этому пути и справедливо ли то, что̀ мы говорили до сихъ поръ, будто мы вѣруемъ въ Него и на Него возлагаемъ надежду». Такихъ мѣстъ можно привести десятки.

Съ годами все очевиднѣе становилось ему нарочитое вмѣшательство Божества въ его личную жизнь и судьбу. Такъ, въ черновомъ наброскѣ письма къ Раевской, относящемуся къ 1840 году, онъ говоритъ, что его постигла опасная болѣзнь, отъ которой врачи не могли исцѣлить его, и «одна только чудная воля Бога воскресила» его. «Это чудное мое исцѣленіе»,—продолжаетъ онъ,—«наполняетъ душу мою утѣшеніемъ несказаннымъ: стало-быть, жизнь моя еще нужна и не будетъ безполезна». — Въ письмѣ къ Аксакову отъ 28 дек. 1840 г. читаемъ: «...Я

радъ всему, всему, что ни случается со мною въ жизни, и какъ погляжу я только, къ какимъ чуднымъ пользамъ и благу вело меня то, что называется въ свѣтѣ неудачами, то растроганная душа моя не находитъ словъ благодарить Невидимую Руку, ведущую меня». Жуковскому онъ писалъ 10 мая 1843 г.: «Болѣзнь моя такъ мнѣ была доселѣ нужна, какъ разсмотрю поглубже все время страданія моего, что не даетъ духа просить Бога о выздоровленіи. Молю только Его о томъ, да ниспошлетъ нѣсколько свѣжихъ минутъ и надлежащихъ душевныхъ расположеній, нужныхъ для изложенія на бумагу всего того, что пріуготовляла во мнѣ болѣзнь страданіями и многими, многими искушеніями и сокрушеніями всѣхъ родовъ, за которыя недостаетъ словъ и слезъ благодарить Его всеминутно и ежечасно...»

Вникая въ тайный смыслъ посылаемыхъ ему испытаній, неустанно прислушиваясь къ указаніямъ свыше, Гоголь незамѣтно выработалъ себѣ нѣчто въ родѣ «теоріи познанія» путей Провидѣнія и вмѣстѣ теоріи чудодѣйственной силы молитвы. Онъ писалъ Языкову (4 ноября 1843 г.): «молитва не есть словесное дѣло; она должна быть отъ всѣхъ силъ души; безъ того она не возлетитъ. Молитва есть восторгъ. Если она дошла до степени восторга, то она уже проситъ о томъ, чего Богъ хочетъ, а не о томъ, чего мы хотимъ. Какъ узнать хотѣніе Божье? Для этого нужно взглянуть разумными очами на себя и изслѣдовать себя: какія способности, данныя намъ отъ рожденія, выше и благороднѣе другихъ? Тѣми способностями мы должны работать преимущественно, и въ сей работѣ заключено хотѣніе Бога; иначе онѣ не были бы намъ даны. Итакъ, прося о пробужденіи ихъ, мы будемъ просить о томъ, что согласно съ Его волею; стало-быть, молитва наша прямо будетъ услышана. Но нужно, чтобы эта молитва была отъ всѣхъ силъ души нашей. Если такое постоянное напряженіе хотя на двѣ минуты въ день соблюсти въ продолженіе одной или двухъ недѣль,

то увидишь ея дѣйствія непремѣнно. Къ концу этого времени въ молитвѣ окажутся прибавленія. Вотъ какія произойдутъ чудеса. Въ первый день еще ни ядра мысли нѣтъ въ головѣ твоей; ты просишь просто о вдохновеніи. На другой или на третій день ты будешь говорить не просто: «дай произвести мнѣ», но уже: «дай произвести мнѣ въ *такомъ-то* духѣ». Потомъ, на четвертый или пятый: «съ *такою-то* силою». Потомъ окажутся въ душѣ вопросы: какое впечатлѣніе могутъ произвести задумываемыя творенія и къ чему могутъ послужить? И за вопросами въ ту же минуту послѣдуютъ отвѣты, которые будутъ прямо отъ Бога. Красота этихъ отвѣтовъ будетъ такова, что весь составъ уже самъ собою превратится въ восторгъ; и къ концу какой-нибудь другой недѣли увидишь, что уже все составилось, что нужно: и предметъ, и значеніе его, и сила, и глубокій внутренній смыслъ, словомъ — все; стоитъ только взять въ руки перо, да и писать». Эти любопытныя строки говорятъ сами за себя. Онѣ какъ нельзя лучше раскрываютъ намъ самую суть того мистическаго уклада души, какой былъ присущъ Гоголю.

Какъ видно изъ приведеннаго отрывка, Гоголь стремился внушить такое воззрѣніе и настроеніе другимъ,— въ данномъ случаѣ поэту Языкову. Вотъ аналогичное внушеніе, обращенное къ художнику Иванову: «Вы еще далеко не христіанинъ, хотя и замыслили картину на прославленіе Христа и христіанства. Вы не почувствовали близкаго къ намъ участья Бога и всю высоту родственнаго союза, въ который Онъ вступилъ съ нами».

Нетрудно понять, какое вліяніе должно было оказать это мистическое воззрѣніе на постановку той личной нравственной задачи, того «душевнаго дѣла», которое такъ занимало Гоголя: этическое поглощалось у него религіознымъ, проблема нравственнаго совершенствованія ставилась и рѣшалась въ духѣ личнаго подвижничества, аскетизма, удаленія отъ міра. Онъ глубоко вѣ-

рилъ, что на этомъ пути устанавливается и крѣпнетъ связь человѣка съ Божествомъ и за человѣкомъ обезпечивается загробное блаженство на небесахъ.

IV.

Вникая въ психологическій составъ «душевнаго дѣла» Гоголя, мы ясно различаемъ въ этомъ мудреномъ «дѣлѣ» двѣ половины: 1) религіозно-нравственное самовоспитаніе съ тѣми мистическими пріемами, на которые я только что указалъ, и 2) стремленіе къ плодотворной (какъ понималъ Гоголь) *общественной* дѣятельности, дающей субъекту *нравственное* удовлетвореніе. Это стремленіе, въ высокой степени характерное для развитія нашего общественнаго самосознанія, прекрасно выражается въ предложенной Н. К. Михайловскимъ формулѣ: «какъ мнѣ жить свято». Въ нашей литературѣ оно впервые проявилось съ достаточно яркой силой именно у Гоголя, и потому-то творецъ «Мертвыхъ Душъ» и моралистъ «Выбранныхъ мѣстъ» по праву долженъ быть названъ основоположникомъ морализирующихъ «проповѣднническихъ» теченій или направленій въ развитіи нашей общественной мысли.

Этому значенію Гоголя не могла повредить та крайне-мистическая и аскетическая постановка нравственныхъ задачъ, какую мы видимъ у него. Ибо, во-первыхъ, важно было не то, *какъ* задача ставилась, *а то, что она впервые была такъ или иначе поставлена*, что вопросъ былъ поднятъ, что великій художникъ сталъ моралистомъ и заговорилъ о нравственномъ достоинствѣ человѣка, о его призваніи къ лучшему нравственному существованію, о необходимости стремиться къ добру, къ чистотѣ души, къ внутренней правдѣ и проявлять эти стремленія въ поступкахъ, въ жизни. А, во-вторыхъ, по свойственной человѣку непослѣдовательности, у Гоголя — особливо-замѣтной, крайне аскетическая, отрѣшенная отъ жизни, постановка задачи не была доведена у него до конца: вѣдь

онъ не ушелъ въ монастырь и другихъ не побуждалъ къ тому; напротивъ, его проповѣдь приняла направленіе *общественное:* онъ хотѣлъ вліять на общество, исправлять нравы, съ какою цѣлью и издалъ «Выбранныя мѣста». Мало того: всю свою *художественную* работу онъ хотѣлъ повернуть въ эту сторону, выработавъ извѣстный—нравственно-поучительный—планъ второй и третьей части «Мертвыхъ Душъ». Наконецъ, мы видимъ, что онъ ведетъ своеобразную пропаганду среди лицъ высокопоставленныхъ, стремясь подвинуть ихъ на активную борьбу съ общественнымъ зломъ (неправосудіемъ, взяточничествомъ и т. д.). И мы можемъ смѣло сказать о Гоголѣ, что онъ, преслѣдуя свое «душевное дѣло», не только «спасалъ свою душу», но и стремился по-своему «дѣлать благое дѣло среди царюющаго зла».

Но съ годами «душевное дѣло» Гоголя принимало оборотъ все болѣе неблагопріятный для его личнаго—душевнаго—благополучія и для его художественнаго творчества. Оно развивалось въ духѣ крайняго аскетизма и мистики. Это зависѣло ближайшимъ образомъ, во-первыхъ, отъ болѣзненной мнительности Гоголя въ отношеніи его нравственнаго сознанія,—мнительности, переходившей въ «нравственную ипохондрію», а во-вторыхъ, отъ присущаго ему—совсѣмъ уже нераціональнаго—вѣрованія въ чорта, въ «нечистую силу». Оттуда у него вѣчные страхи, постоянное содроганіе отъ содѣянныхъ или несодѣянныхъ грѣховъ, ужасъ при мысли, что, можетъ быть, вотъ сейчасъ онъ попадетъ въ когти дьявола и потеряетъ столь тяжкимъ трудомъ завоеванное блаженство въ раю... Оттуда постоянныя покаянія, учащенныя молитвы, оттуда, если можно такъ выразиться, «душевныя вериги», которыя онъ носилъ, наконецъ—подчиненіе вліянію о. Матвѣя. Мы живо чувствуемъ этотъ мучительный, этотъ болѣзненный страхъ и трепетъ души «грѣшника», когда читаемъ извѣстное духовное завѣщаніе Гоголя, гдѣ сказано: «Во имя Отца и Сына... Я хотѣлъ бы, чтобы по смерти вы-

строенъ былъ храмъ, въ которомъ бы производились частыя поминки по грѣшной душѣ. Для того кладу въ основаніе половину моихъ доходовъ съ сочиненій... Я бы хотѣлъ, чтобы тѣло мое было погребено если не въ церкви, то въ оградѣ церковной, и чтобы панихиды по мнѣ не прекращались» (Письма Н. В. Гоголя», подъ редакціей В. И. Шенрока, 1902, т. IV, стр. 426). Въ другомъ мѣстѣ того же документа читаемъ: «Помилуй, Господи, меня грѣшнаго: свяжи сатану вновь» (стр. 424). И еще: «Помилуй меня грѣшнаго, прости Господи! Свяжи вновь сатану таинственною силою неисповѣдимаго креста» (написано за нѣсколько дней до кончины (см. тамъ же, стр. 426). Вспомнимъ и извѣстный разсказъ о томъ, какъ незадолго до смерти Гоголя (въ началѣ февраля 1852 г.) о. Матвѣй такъ «напугалъ его изображеніемъ отвѣтственности на Страшномъ Судѣ, что Гоголь, *не владѣя собою*, прервалъ его рѣчь и сказалъ ему: «довольно! Оставьте меня! Не могу далѣе слушать! Слишкомъ страшно!» (Примѣчаніе В. И. Шенрока на стр. 423-й IV тома «Писемъ», со ссылкою на «Послѣдніе дни Н. В. Гоголя» д-ра Тарасенкова).

Однако даже въ самый разгаръ такихъ страховъ Гоголь не упускалъ изъ виду общественной стороны нравственныхъ задачъ личности. Въ началѣ того же «духовнаго завѣщанія» находимъ обращеніе къ «друзьямъ», гдѣ сказано: «не смущайтесь никакими событіями, какія ни случаются вокругъ васъ. Дѣлайте каждый свое дѣло, моляся въ тишинѣ. Общество тогда только поправится, когда всякій частный человѣкъ займется собою и будетъ жить какъ христіанинъ, служа Богу тѣми орудіями, какія ему даны, и стараясь имѣть доброе вліяніе на небольшой кругъ людей, его окружающихъ. Все придетъ тогда въ порядокъ, сами собой установятся тогда правильныя отношенія между людьми, опредѣлятся предѣлы законные всему. И человѣчество двинется впередъ...» (тамъ же, стр. 423—4).

Излишне опровергать эту точку зрѣнія и доказывать, что *такимъ способомъ* никакія общества не «поправлялись», и человѣчество не двигалось впередъ и не можетъ двинуться... Но для насъ важно указать на то, что эта нераціональная, противорѣчащая и историческому опыту, и всѣмъ предпосылкамъ науки, точка зрѣнія не разъ выставлялась и въ послѣдующее время въ нашей литературѣ, — именно нѣкоторыми представителями того морализирующаго направленія, основателемъ котораго былъ Гоголь. Съ особливою настойчивостью и послѣдовательностью проводилась она въ проповѣди Л. Н. Толстого. Вмѣстѣ съ тѣмъ укажемъ и на то, что едва ли найдется подобная постановка нравственно-общественной задачи у представителей другого теченія, именно того, которое идетъ отъ Пушкина.

V.

Когда появились «Вечера на хуторѣ», «Миргородъ», потомъ «Ревизоръ», никому и въ голову не могло придти, что авторъ этихъ вещей, по своему душевному укладу и характеру дарованія, призванъ сдѣлаться художникомъ-*моралистомъ*. Нравственныя основанія смѣха въ «Ревизорѣ», конечно, были поняты лучшими умами эпохи; но что «Ревизоръ» былъ написанъ при особливомъ давленіи «мукъ совѣсти», это зналъ только одинъ человѣкъ—самъ Гоголь, да и тотъ еще не понималъ истиннаго смысла и всего значенія этого факта.

Фактъ состоялъ въ пробужденіи особливой, болѣзненной отзывчивости нравственнаго чувства, реагирующаго, съ чуткостью барометра, на давленіе нравственной атмосферы общества. А самому обладателю этого «барометра» казалось, что дѣло идетъ только объ указаніи на частные случаи «злоупотребленій», да еще объ исправленіи себя самого отъ нѣкоторыхъ недостатковъ и дурныхъ замашекъ...

Но вскорѣ онъ сталъ уже яснѣе различать голосъ своихъ душевныхъ мукъ и понялъ, что онъ—одна изъ важ-

ныхъ пружинъ его творчества. Впослѣдствіи, въ «Авторской исповѣди», онъ вспоминалъ: «Причина той веселости, которую замѣтили въ первыхъ сочиненіяхъ моихъ..., заключалась въ нѣкоторой душевной потребности. На меня находили припадки тоски, мнѣ самому необъяснимой, которая происходила, можетъ быть, отъ моего болѣзненнаго состоянія. Чтобы развлекать себя самого, я придумывалъ себѣ все смѣшное, что только могъ выдумать...». Объясненіе — довольно наивное, но въ немъ нельзя не видѣть правильнаго указанія на симптомы сложнаго душевнаго процесса, который въ ту эпоху (первыхъ произведеній Гоголя) только начиналъ развиваться. Припадки безотчетной тоски, отъ чего бы она ни происходила, были прецедентами той напряженной работы нравственнаго сознанія, которая вскорѣ должна была обнаружиться съ полною очевидностью. Потребность въ смѣхѣ, въ утѣхахъ беззаботнаго, веселаго творчества—безъ мукъ совѣсти—явилась, при огромномъ комическомъ талантѣ, естественною реакціей противъ припадковъ «необъяснимой тоски».

«Ревизоръ» былъ поворотнымъ пунктомъ въ творчествѣ Гоголя: великою комедіей онъ круто повернулъ въ сторону того творчества, которое мы называемъ «связаннымъ» запросами личнаго нравственнаго сознанія художника. Въ той же «Авторской исповѣди» читаемъ: «Я увидѣлъ [1]), что въ сочиненіяхъ своихъ смѣюсь даромъ, напрасно, самъ не зная зачѣмъ. Если смѣяться, такъ ужъ лучше смѣяться сильно и надъ тѣмъ, что дѣйствительно достойно осмѣянія всеобщаго. Въ «Ревизорѣ» я рѣшился собрать въ одну кучу все дурное въ Россіи, какое я тогда зналъ, всѣ несправедливости, какія дѣлаются въ тѣхъ мѣстахъ и въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ больше всего требуется отъ человѣка справедливости, и за однимъ разомъ посмѣяться надъ всѣмъ. Но это, какъ извѣстно, произвело потрясающее дѣйствіе. Сквозь смѣхъ, который никогда

---

[1]) Послѣ того какъ Пушкинъ раскрылъ ему глаза.

еще во мнѣ не появлялся въ такой силѣ, читатель услышалъ грусть. Я самъ почувствовалъ, что уже смѣхъ мой не тотъ, какой былъ прежде, что уже не могу быть въ сочиненіяхъ моихъ тѣмъ, чѣмъ былъ дотолѣ, и что самая потребность развлекать себя невинными, беззаботными сценами окончилась вмѣстѣ съ молодыми моими лѣтами».— Онъ все болѣе углубляется въ свой внутренній міръ, вникаетъ въ мудреныя задачи, которыя подымались тревожной работой нравственнаго чувства и—при темнотѣ мысли—такъ нераціонально ставились его огромнымъ умомъ,— и вотъ въ письмахъ его все чаще и чаще попадаются указанія на какое-то «душевное дѣло», его занимающее, на необходимость «самовоспитанія», на благотворное вліяніе на его душу разныхъ «отлученій отъ міра», уединенія, «сокрушеній», наконецъ болѣзней...

Изумлялись, читая все это, друзья его и не совсѣмъ вѣрили искренности его признаній. «Хитритъ хохолъ», думали они, и терялись въ догадкахъ о томъ, къ чему все это, какая скрытая цѣль или задняя мысль могла руководить въ данномъ случаѣ «хитрымъ хохломъ»... Въ настоящее время искренность этихъ признаній Гоголя едва ли можетъ возбуждать сомнѣнія: этотъ человѣкъ дѣйствительно былъ поглощенъ внутренней работой «самовоспитанія», и его творчество и двигалось, и связывалось «муками совѣсти» и своеобразною постановкой лично-нравственной задачи; его дѣйствительно занималъ и мучилъ вопросъ: «какъ мнѣ жить свято?», и онъ связывалъ свои нравственныя стремленія съ задачею осуществленія своей «общественной стоимости».

И нѣтъ никакихъ основаній сомнѣваться въ искренности его признаній въ родѣ слѣдующаго: «Я еще не зналъ тогда (говоритъ онъ въ «Авторской исповѣди» по поводу своихъ поисковъ «мѣста на государственной службѣ»), какъ многаго мнѣ недоставало за тѣмъ, чтобы служить такъ, какъ я хотѣлъ служить. Я не зналъ тогда, что нужно для этого побѣдить въ себѣ всѣ щекотливыя

струны самолюбія личнаго и гордости личной, не забывать ни на минуту, что взялъ мѣсто не для своего счастья, но для счастья многихъ тѣхъ, которые будутъ несчастны, если благородный человѣкъ броситъ свое мѣсто... Я не зналъ еще тогда, что тому, кто пожелаетъ истинно-честно служить Россіи, нужно имѣть очень много любви къ ней, которая бы поглотила уже всѣ другія чувства, — нужно имѣть много любви къ человѣку вообще и сдѣлаться истиннымъ христіаниномъ во всемъ смыслѣ этого слова». Вскорѣ, именно все тѣмъ же путемъ самовоспитанія, самоуглубленія, «сокрушеній» и молитвъ, онъ и позналъ эту истину, гласящую, что въ Россіи (его времени) нужно быть истиннымъ христіаниномъ для того, чтобы на службѣ быть порядочнымъ человѣкомъ...

Но ему не дано было постичь другой—простой—истины, что великая задача общественнаго развитія и вмѣстѣ государственной пользы въ томъ-то и состоитъ, чтобы создать условія, при которыхъ человѣкъ, служащій государству и обществу, легко могъ бы добропорядочно исполнять свои обязанности и не будучи «настоящимъ христіаниномъ во всемъ смыслѣ этого слова»... Впослѣдствіи, паденіе крѣпостного права, развитіе общественнаго самосознанія, рядъ реформъ 60-хъ годовъ, распространеніе образованія и т. д. явились первыми шагами на этомъ пути. Какъ творецъ «Ревизора» и «Мертвыхъ Душъ», Гоголь былъ одной изъ силъ, создававшихъ самую возможность этихъ первыхъ шаговъ.

Если мы признали, что постановка вопросовъ личнаго нравственнаго сознанія («душевное дѣло») была у него необходимою пружиной его творчества, то этимъ самымъ признали великую важность этого лично-нравственнаго стремленія и для дѣла нашего общественнаго развитія, только не прямо (ибо содержаніе проповѣди Гоголя было безусловно непригодно для этого развитія), а косвенно—черезъ посредство художественнаго творчества, которое есть дѣятельность, въ своей психологической сути, чисто

личная, а по значенію и призванію — общественная и національная. Тѣмъ болѣе должна имѣть общественное значеніе дѣятельность тѣхъ нашихъ художниковъ-моралистовъ, проповѣдь которыхъ, по своему содержанію, не противорѣчитъ задачамъ общественнаго прогресса. На первый планъ выдвигается здѣсь художественная и морально-публицистическая дѣятельность Глѣба Успенскаго. А въ послѣднее время, въ предразсвѣтной мглѣ грядущаго уже очерчиваются размѣры значенія моральной проповѣди великаго писателя земли Русской...

Глава V.

Гоголь—общеруссъ на малорусской основѣ. Къ вопросу о національномъ—общерусскомъ значеніи его.

Національность человѣка опредѣляется не его происхожденіемъ, а его языкомъ, именно тѣмъ, которымъ называютъ «роднымъ» (Muttersprache). «Родной языкъ» это тотъ, который, будучи усвоенъ человѣкомъ съ дѣтства, сталъ для него привычнымъ, удобнѣйшимъ, необходимымъ органомъ его мысли. Это—тотъ, на которомъ человѣкъ непроизвольно мыслитъ, и который служитъ ему не столько для передачи мысли другимъ, сколько для созданія его собственной мысли. На немъ онъ молчаливо думаетъ, на немъ онъ видитъ свои сны, и онъ же является всегда готовымъ средствомъ выраженія его чувствъ, его настроеній и страстей, всѣхъ интимныхъ движеній души.—Если для васъ по обстоятельствамъ вашей жизни такимъ языкомъ сталъ, скажемъ, французскій, то вы *по національности*, несомнѣнно, — французъ, хотя бы происходили отъ русскихъ родителей и у васъ не было ни капли «французской» крови. Ваше чисторусское происхожденіе можетъ только внести кое-какіе оттѣнки въ вашу французскую національную форму, но послѣдняя по существу останется столь же французскою, какою является она у чистокровныхъ французовъ.

Прилагая къ Гоголю это понятіе о національности, мы рѣшительно отвергаемъ обычное представленіе о Гоголѣ—какъ малороссѣ въ современномъ смыслѣ. При малорусскомъ происхожденіи, онъ былъ, по національности, не малороссъ, а *общеруссъ*. Это съ очевидностью явствуетъ изъ двухъ фактовъ, которые въ данномъ вопросѣ имѣютъ рѣшающее значеніе: 1) художественное творчество Гоголя совершалось на общерусскомъ, а не на малорусскомъ языкѣ, — а вѣдь давно дознано, что художественно творить на языкѣ неродномъ (въ вышеуказанномъ смыслѣ) — это психологическая невозможность; на неродномъ, на искусственно усвоенномъ языкѣ можно только *сочинять*, упражняться въ слогѣ, но нельзя поэтически—мыслить; 2) четыре тома его писемъ, начиная съ дѣтскихъ, свидѣтельствуютъ о томъ, что обиходнымъ языкомъ его личной жизни былъ общерусскій,—на немъ, очевидно, говорили въ его семьѣ, и онъ усвоилъ его еще въ дѣтствѣ, въ домѣ родителей, въ Васильевкѣ; на немъ же писалъ онъ письма близкимъ друзьямъ-землякамъ (А. С. Данилевскому, Прокоповичу, Максимовичу). Въ огромной массѣ писемъ Гоголя есть только одно малорусское, да и то адресовано поляку Богдану Залѣсскому, и само по себѣ (если бы, положимъ, малорусское происхожденіе Гоголя было неизвѣстно намъ) такъ же мало свидѣтельствовало бы о его малорусской національности, какъ итальянское письмо къ Балабиной—о его итальянской національности.

При всемъ томъ нельзя, разумѣется, отрицать присутствія въ національномъ складѣ Гоголя извѣстныхъ чертъ, принадлежащихъ національности малорусской. Гоголь былъ общеруссъ, но въ его общерусскомъ національномъ укладѣ и въ его общерусскомъ языкѣ были признаки малорусскаго происхожденія, подобно тому какъ у другого общерусса найдутся признаки великорусскіе, у третьяго—бѣлорусскіе, у четвертаго—польскіе, у пятаго—еврейскіе и т. д.

Чтобы не сбиваться въ этомъ вопросѣ, который, при всей лингвистической и психологической простотѣ и ясности, запутанъ и затемненъ неправильными ходячими представленіями о національности, необходимо прежде всего усвоить себѣ истинную природу того явленія, для обозначенія котораго мы пользуемся терминами «общеруссъ», «общерусскій», давно узаконенными въ филологической литературѣ, но малоупотребительными въ общежитіи.

Обыкновенно въ томъ смыслѣ, какъ мы говоримъ здѣсь «общеруссъ», говорятъ «русскій», — и это вноситъ путаницу. И въ самомъ дѣлѣ: хохолъ изъ глубины Полтавщины и русинъ изъ Галиціи, вѣдь, также *русскіе*, не меньше великоросса изъ Москвы, великоросса изъ Новгородской губ., сибиряка, бѣлорусса и т. д. Все это— этническія разновидности, подводящіяся подъ видовое понятіе—«русскіе», которое служитъ только для ихъ обобщенія, ихъ суммированія. Совсѣмъ не то—«общеруссы»: это слово означаетъ не объединеніе или обобщеніе понятій «великороссы», «малороссы», «бѣлоруссы» съ ихъ многочисленными дѣленіями по нарѣчіямъ и говорамъ въ одну группу, *а служитъ названіемъ особой, фактически существующей разновидности*. Иначе говоря, подъ общее понятіе «русскіе» подводятся всѣ великороссы, малороссы, бѣлоруссы со всѣми ихъ подраздѣленіями, *и еще—общеруссы*, также имѣющіе свои подраздѣленія: общеруссы на великорусской основѣ, общеруссы на малорусской, на бѣлорусской и потомъ также на разныхъ основахъ не русскаго происхожденія, а инороднаго. Сомнѣваться въ существованіи особой національной формы, обозначаемой названіемъ «общерусской», нельзя,— ибо не подлежитъ сомнѣнію существованіе особаго *общерусскаго* языка, отличнаго отъ великорусскаго, малорусскаго, бѣлорусскаго, и при томъ языка не искусственнаго, мертваго, а «натуральнаго», живого. Общеруссы— это всѣ тѣ, для которыхъ онъ является «роднымъ» въ

вышеуказанномъ смыслѣ. Возникъ онъ, какъ извѣстно, изъ московскаго нарѣчія великорусскаго языка; но ставъ языкомъ государственнымъ, а также языкомъ интеллигенціи и литературы, онъ давно уже перешелъ за предѣлы московскаго нарѣчія, воспринялъ массу чуждыхъ послѣднему словъ и оборотовъ, получилъ высшее развитіе и сталъ однимъ изъ міровыхъ языковъ. Онъ продолжаетъ развиваться и совершенствоваться, онъ *живетъ* и при томъ—высшею жизнью, служа, помимо своей роли—какъ способа общенія многочисленныхъ племенъ, населяющихъ Россію, орудіемъ созданія творческой мысли, какъ общественной, такъ и научно-философской и художественной. Это, языкъ Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Бѣлинскаго, Добролюбова, Л. Н. Толстого и т. д.,—языкъ высокой поэзіи, великой литературы.

Необходимымъ условіемъ его жизнеспособности и его дальнѣйшаго развитія, какъ всегда въ этихъ случаяхъ, является сохраненіе тѣхъ родниковъ, изъ которыхъ образовался этотъ могучій потокъ, т.-е. народныхъ языковъ (великорусскаго, малорусскаго, бѣлорусскаго съ ихъ нарѣчіями). Литературная обработка этихъ послѣднихъ, т.-е. развитіе мѣстныхъ, преимущественно народныхъ литературъ, имѣя огромное просвѣтительное значеніе, въ то же время расчищаетъ «родники», не даетъ имъ засариваться или застаиваться и съ тѣмъ вмѣстѣ подводитъ прочный культурный фундаментъ подъ зданіе общерусскаго языка и литературы, претендующихъ на міровое значеніе. Дальнѣйшая же судьба того или другого народнаго языка, той или иной мѣстной литературы—это вопросъ исторіи, дѣло грядущаго, которое предвидѣть или предопредѣлить намъ не дано.

Великій общерусскій поэтъ — художникъ, одинъ изъ основателей общерусской литературы, Гоголь, конечно, былъ *общеруссъ*. Но онъ былъ общеруссъ *на малорусской основѣ*. Какую долю въ его національномъ складѣ и въ его творчествѣ слѣдуетъ отнести насчетъ этой осно-

вы, это—вопросъ детальныхъ изслѣдованій, которыя едва начаты [1]). Намъ приходится ограничиться указаніями на элементарные и общеизвѣстные факты.

Онъ любилъ малорусскую народность и не переставалъ чувствовать свое психологическое родство съ нею. Онъ любилъ малорусскія пѣсни, собиралъ ихъ, пѣлъ ихъ... Для этого, разумѣется, нѣтъ надобности непремѣнно быть «настоящимъ малороссомъ», но, повидимому, въ душѣ Гоголя были особыя—національныя—«струны», которыя отзывались на эти «родные звуки» трепетнѣе и сочувственнѣе, чѣмъ это могло бы быть у посторонняго любителя малорусской народности, поэзіи и старины. Онъ тонко и отзывчиво, какъ говорится, «нутромъ» понималъ особенности малорусскаго національнаго склада, потому что эти особенности, или нѣкоторыя изъ нихъ, были у него самого. Сюда относится между прочимъ его несравненный юморъ, специфически — малорусскій, и веселый, жизнерадостный смѣхъ, искрящійся въ его произведеніяхъ изъ малорусской жизни. Можетъ быть, сюда же придется отнести и склонность къ «поэтической лѣни», къ художественно-созерцательной жизни... Другія черты Гоголя, которыя нерѣдко также приписываютъ его малорусскому происхожденію, напр. его «хитрость» и «неискренность», конечно, не образуютъ особенности малорусской національности и принадлежали Гоголю лично, *какъ человѣку*. Вообще черты нравственнаго порядка не входятъ въ составъ національныхъ формъ. Онѣ могутъ быть принадлежностью извѣстныхъ общественныхъ классовъ и профессій, но отнюдь не національности, какъ таковой, и совершенно—ошибочно приписываются этой послѣдней—въ силу привычки судить о ней по тому или другому

---

[1]) На первый планъ выдвигаются здѣсь наблюденія надъ языкомъ и слогомъ Гоголя, гдѣ много малоруссизмовъ. Почтенное изслѣдованіе проф. *Мондельштама* полагаетъ путь этимъ наблюденіямъ. О немъ см. превосходную статью *А. Г. Горнфельда* (въ „Русск. Бог.“).

классу, который почему-либо разсматривается какъ типичный представитель ея [1]).

Національно-малорусскія черты въ умственномъ складѣ Гоголя въ извѣстной мѣрѣ оживлялись тѣмъ, что Гоголь хорошо владѣлъ малорусскимъ языкомъ, не забывалъ его, зачастую говорилъ на немъ—съ «земляками» (и также съ Богд. Залѣсскимъ), могъ писать на немъ. Но спрашивается: могъ ли онъ *творить* на немъ? Вѣроятно, могъ бы—въ предѣлахъ малорусскихъ впечатлѣній и наблюденій на сюжеты «Вечеровъ», «Тараса Бульбы», пожалуй—«Ссоры Ивана Иваныча съ Иваномъ Никифоровичемъ». Но въ высокой степени знаменательно то, что фактически онъ даже и не пробовалъ творить на малорусскомъ языкѣ, и что единственнымъ и необходимымъ орудіемъ его творчества былъ языкъ общерусскій.

Изученіе Гоголя какъ поэта и писателя, какъ одного изъ творцовъ русской (общерусской) литературы представляетъ особливый интересъ между прочимъ для изученія психологіи самой общерусской національной формы. Дѣло въ томъ, что, несмотря на великорусское происхожденіе общерусскаго языка, общерусскую національную форму какъ явленіе психологическое *нельзя считать разновидностью великорусской.* Мы сказали выше, что національность человѣка опредѣляется языкомъ. Но это не значитъ, чтобы языкомъ исчерпывалась вся совокупность чертъ, образующихъ національную форму личности. Эта форма, какъ собраніе, или, лучше, психологическій синтезъ, извѣстныхъ чертъ духовнаго склада и особенностей ума, есть явленіе болѣе сложное и широкое; она содержитъ въ себѣ много такого, что не принадлежитъ непосредственно къ психологіи языка. Напр., въ національныхъ формахъ мы находимъ черты, которыми характеризуется высшее

---

[1]) Такъ напр. польской національности приписали пресловутый „гоноръ“, черту чисто шляхетскую, а вовсе не польскую, ошибочно отождествляя „польское“ (національное) со шляхетскимъ (классовымъ). Такихъ „ошибокъ“—масса.

мышленіе, возвышающееся надъ языкомъ. Такъ, на англійской философіи лежитъ явственный отпечатокъ англійскаго національнаго генія, на нѣмецкой отпечатокъ специфически нѣмецкихъ привычекъ и пріемовъ мысли, нѣмецкаго «генія» и т. д.; связь съ языкомъ и его психологіей здѣсь не исчезаетъ, но она—не прямая, а косвенная, болѣе отдаленная, болѣе сложная, чѣмъ та, которая видна въ нѣкоторыхъ другихъ проявленіяхъ или дѣятельностяхъ національнаго сознанія, напр., въ поэзіи. Далѣе, національный складъ сказывается въ практикѣ жизни, въ народныхъ движеніяхъ, въ учрежденіяхъ, въ явленіяхъ общественнаго самосознанія, въ соціальномъ творчествѣ. Національныя особенности, проявляющіяся въ этой области, конечно, не вытекаютъ изъ психологіи языка, и послѣдняя только участвуетъ какъ одинъ изъ составныхъ элементовъ въ этой дѣятельности національнаго духа.

Общерусская національность образовалась (и продолжаетъ развиваться дальше) общими силами всѣхъ русскихъ этнографическихъ разновидностей при довольно замѣтномъ участіи обрусѣвшихъ иностранцевъ и инородцевъ. Въ особенности значителенъ вкладъ малороссовъ, который, начавшись въ XVII-мъ вѣкѣ, идетъ все увеличиваясь. Поистинѣ поразительна та легкость и быстрота, съ которою уже въ XVII-мъ вѣкѣ, а еще болѣе въ XIX-мъ малороссы переходили отъ свой національной формы къ общерусской. Это не значитъ, что они превращались въ великороссовъ: это значитъ, что они вмѣстѣ съ великороссами, бѣлоруссами и т. д. принимали дѣятельное участіе въ образованіи и развитіи четвертой русской національности — *общерусской*, внося въ нее извѣстный вкладъ изъ своего языка, а еще болѣе—изъ другихъ сторонъ своей основной національности. Въ этомъ смыслѣ общерусскій національный складъ на добрую долю долженъ быть признанъ «малорусскимъ», при языкѣ великорусскаго происхожденія.—Одинъ изъ самыхъ богатыхъ вкладовъ въ общерусскую національность со стороны

малорусской былъ Гоголь, или, лучше сказать, онъ былъ типичнымъ и яркимъ представителемъ этого явленія, частнымъ случаемъ огромной важности въ этомъ историческомъ процессѣ—образованія общерусской національности при особливо дѣятельномъ участіи малорусской.

Въ этомъ «стихійно историческомъ» процессѣ наблюдается между прочимъ одно любопытное въ теоретическомъ отношеніи явленіе, которое можно назвать «раздвоеніемъ національной личности» человѣка. Гоголя мы причислили къ общеруссамъ, но у многихъ другихъ мы найдемъ совмѣщеніе, параллелизмъ двухъ національныхъ формъ — общерусской и малорусской то при равновѣсіи обѣихъ, то съ преобладаніемъ одной надъ другою. Сюда относятся: напр., Квитка, у котораго малорусская форма преобладала надъ общерусскою; Гребенка, у котораго, повидимому, было наоборотъ, наконецъ, даже самъ Шевченко, сохранившій благодаря происхожденію изъ народа малорусскую форму въ особливой чистотѣ и ставшій первостепеннымъ національнымъ поэтомъ; однако при всемъ томъ въ немъ была и общерусская національная форма (характерно, что свой извѣстный «Дневникъ» онъ писалъ на общерусскомъ языкѣ).

Что касается Гоголя, то въ немъ мы (вопреки взгляду глубокоуважаемой А. Я. Ефименко, изложенному въ ея талантливой статьѣ о Гоголѣ, «Вѣстн. Евр.», іюль с. г.) не видимъ совмѣщенія или параллелизма двухъ національныхъ личностей, и всѣ его «малорусскія симпатіи» объясняемъ не сохраненіемъ въ немъ малорусской національности, а только его малорусскимъ происхожденіемъ, малорусскою основою его общерусской національности.— Къ тому же подобнаго рода симпатіи нерѣдко наблюдаются и у другихъ, о малорусской національности которыхъ не можетъ быть и рѣчи, но у которыхъ либо есть доля «хохлацкой крови», либо еще въ дѣтствѣ залегли живыя впечатлѣнія края, его природы, культурной обстановки, нравовъ жителей, звуковъ ихъ рѣчи, мелодій ихъ пѣсенъ.

Этого рода симпатіи «ко всему малорусскому» мы находимъ, напр., у А. О. Смирновой, у гр. Ал. К. Толстого, а также и у лицъ, совершенно «постороннихъ», которымъ просто полюбилась малорусская національная складка, какъ Гоголю полюбилась итальянская. И. С. Тургеневъ, слегка «подтрунивая» надъ «хохлами», всегда однако относился къ нимъ съ большой симпатіей (Михалевичъ въ «Дворянскомъ Гнѣздѣ», воспоминанія о Шевченкѣ, переводъ малорусскихъ очерковъ Марка Вовчка, личныя признанія въ этомъ смыслѣ, напр., въ бесѣдѣ съ Драгомановымъ).

Малорусскія симпатіи Гоголя, разумѣется, не были симпатіями «посторонняго», ибо онъ былъ «по крови» настоящій хохолъ, но и не были выраженіемъ живой національной формы, — *иначе онъ, при его поэтическомъ геніи не могъ бы воздержаться отъ творчества на малорусскомъ языкѣ.* По всему видно, что у него совсѣмъ не было внутренняго побужденія творить на этомъ языкѣ. Пусть «Ревизора» и «Мертвыя Души» не было и смысла писать помалорусски, но великій поэтъ, если бы онъ былъ настоящій малороссъ по національности, по языку, съ психологическою необходимостью долженъ былъ бы написать «Вечера на хуторѣ» прежде всего на своемъ родномъ языкѣ.

Въ заключеніе вспомнимъ здѣсь извѣстное сужденіе самого Гоголя о своей національности и объ отношеніяхъ между двумя важнѣйшими русскими народностями. Въ огромномъ письмѣ къ Смирновой отъ 24 дек. 1844 г. находимъ между прочимъ слѣдующее:

«Скажу вамъ одно слово насчетъ того, какая у меня душа, хохлацкая или русская, потому что это, какъ я вижу изъ письма вашего, служило одно время предметомъ вашихъ разсужденій и споровъ съ другими. На это вамъ скажу, что я самъ не знаю, какая у меня душа, хохлацкая или русская [1]). Знаю только то, что никакъ

[1]) Это очень характерно, именно для *общерусса*, такъ же какъ и слѣдующее: „я... соединилъ въ себѣ двѣ природы: хохлика и русскаго“...

бы не далъ преимущества ни малороссіянину передъ русскимъ, ни русскому передъ малороссіяниномъ. Обѣ природы слишкомъ щедро одарены Богомъ и какъ нарочно каждая изъ нихъ порознь заключаетъ въ себѣ то, чего нѣтъ въ другой: явный знакъ, что онѣ должны пополнить одна другую. Для этого самыя исторіи ихъ прошедшаго быта даны имъ не похожія одна на другую, дабы порознь воспитались различныя силы ихъ характеровъ, чтобы потомъ, слившись воедино, составить собою нѣчто совершеннѣйшее въ человѣчествѣ»...

Это мѣсто требуетъ нѣкоторыхъ поясненій. Прежде всего, что понималъ Гоголь подъ терминомъ «русскій»? Такъ какъ это слово противопоставлено слову «хохлацкій», то, на первый взглядъ, подъ нимъ слѣдуетъ понимать «великорусскій». Ибо въ противномъ случаѣ выходило бы, что «хохлы» (малороссы) — не русскіе, т.-е. не принадлежатъ къ русской вѣтви славянскаго племени, чего Гоголь, конечно, не думалъ. Но если выраженіе «русская душа» означаетъ у него принадлежность къ великорусской національности, то получается другое недоразумѣніе: не могъ же въ самомъ дѣлѣ Гоголь сомнѣваться въ томъ, что онъ не великороссъ. Очевидно, терминъ «русскій» употребленъ здѣсь въ томъ значеніи, въ какомъ мы брали выше терминъ «общеруссъ». Поставимъ этотъ послѣдній на мѣсто перваго—и всѣ неясности устранятся. Гоголь дѣйствительно могъ колебаться въ опредѣленіи своей «національной души», ибо онъ, съ одной стороны, ясно сознавалъ ея общерусскій укладъ, а съ другой—столь же ясно ощущалъ ея малорусскую основу. Далѣе, ихъ гармонія, дополненіе одной «души» другою, о которомъ онъ говоритъ, фактически осуществляется именно и только въ предѣлахъ *общерусской* національной формы, гдѣ малорусская основа (у общеруссовъ малорусскаго происхожденія) сливается съ тѣмъ, что вносится другими элементами этой формы, въ особенности великорусскими. Но, говоря объ этомъ, Гоголь, очевидно, беретъ терминъ «русскій»

уже, въ смыслѣ «великорусскій» (двѣ разныя «исторіи», которыя «даны» двумъ русскимъ племенамъ, и пр.), — и происходитъ обычная въ подобныхъ случаяхъ путаница понятій, приводящая между прочимъ къ странному утвержденію, что «обѣ души», «слившись воедино, составятъ собою нѣчто совершеннѣйшее въ человѣчествѣ». Суть дѣла въ томъ, что силою психологическаго синтеза національныхъ чертъ образовалась особая—*общерусская*—національная форма, существованіе и дальнѣйшее развитіе которой вовсе не предполагаетъ фактическаго «сліянія» данныхъ національностей, т.-е. прекращенія этническаго бытія великороссовъ, съ одной стороны, малороссовъ— съ другой. Это превращеніе означало бы что изсякли «родники» и привело бы къ оскудѣнію самой общерусской «души», черпающей свои силы изъ тѣхъ родниковъ. Если они изсякнутъ, то ужъ навѣрно «общерусская душа», не будетъ «нѣчто совершеннѣйшее въ человѣчествѣ». Разумѣется, не станетъ она такимъ совершенствомъ и при ихъ сохраненіи («гдѣ ужъ! что ужъ!»), но во всякомъ случаѣ явится достаточно жизнеспособнымъ національнымъ укладомъ, призваннымъ къ самобытному творчеству, какъ въ высшихъ сферахъ мысли (въ наукѣ, философіи, искусствѣ), такъ и въ юдоли общественно-государственныхъ отношеній, въ средѣ соціальной.

Приведенное мѣсто очень характерно для Гоголя именно какъ *общерусса*, при чемъ даже неустойчивость терминологіи («русскій»—то въ смыслѣ «великорусскій», то въ смыслѣ «общерусскій»), а равно и ложное пониманіе синтеза національныхъ чертъ, какъ фактическаго сліянія народностей, являются ошибками и иллюзіями, свойственными по преимуществу общеруссамъ.

Все сказанное нами въ этой главѣ о настоящей національности Гоголя служитъ необходимымъ дополненіемъ къ тому, что выше (въ гл. II-ой и III-ей) мы говорили о національномъ—общерусскомъ—призваніи Гоголя, о таковомъ же характерѣ типовъ «Ревизора» и «Мертвыхъ

душъ», о великомъ національномъ значеніи великой комедіи и геніальной поэмы, потомъ (въ гл. III-ей)—о созерцаніи Руси изъ прекраснаго далека, о психологіи этого созерцанія, наконецъ (въ гл. IV-й)—о роли великаго «хохла», созерцателя Руси, какъ перваго начинателя у насъ моральной проповѣди, художественной и нехудожественной.

«Хохолъ» былъ геній *общерусскій*. Онъ созерцалъ Русь изъ прекраснаго далека какъ *общеруссъ*, и дѣло моральной проповѣди на Руси было предпринято имъ какъ *общеруссомъ*.

Глава VI.

Заключеніе: къ вопросу о геніальности Гоголя.

I.

Заканчивая этотъ опытъ психологическаго изученія натуры и творчества Гоголя, постараемся въ заключеніе уяснить себѣ хотя бы нѣкоторыя стороны *психологіи его геніальности*.

Насъ интересуетъ здѣсь вопросъ о томъ, *какъ отражалась геніальность Гоголя на общемъ строѣ его душевной жизни, какъ проявлялась она въ нѣкоторыхъ, наиболѣе характерныхъ для него, особенностяхъ его творчества*.

Нельзя сомнѣваться въ томъ, что такъ называемая «геніальность» является въ душѣ человѣческой «осложняющимъ обстоятельствомъ» высокой важности: она могущественно вліяетъ на всю психику человѣка. Если возьмемъ двѣ натуры приблизительно одинаковыя, то при геніальности одной изъ нихъ получатся двѣ весьма различныхъ картины душевной жизни. Но, конечно, при современномъ состояніи психологіи еще нельзя съ точностью опредѣлить, въ чемъ состоятъ и къ чему сводятся эти воздѣйствія геніальности человѣка на всю его психику. Впрочемъ, нѣкоторыя общія и предварительныя соображенія представляются мнѣ возможными.

Но, прежде чѣмъ выставить ихъ, необходимо разобраться въ самомъ понятіи «*геніальность*».

Нельзя сказать, чтобы это понятіе было достаточно прочно установлено: въ противномъ случаѣ намъ незачѣмъ было бы «разбираться» въ немъ. Если оно не вполнѣ установлено, это значитъ, что само психологическое явленіе геніальности *недостаточно изучено*. Но при всемъ томъ оно *достаточно извѣстно*, ибо оно такъ замѣтно, такъ ярко и выступаетъ съ такою очевидностью, съ такою, выражаясь грубо, «осязательностью», что не могло остаться не отмѣченнымъ. Не имѣя въ своемъ распоряженіи научно выработаннаго понятія геніальности, мы однако легко распознаемъ ее, называя геніями, напр., Ньютона, Рафаэля, Канта, Гёте, Бетховена, Гейне, Пушкина, Мицкевича, Лобачевскаго и т. д., и т. д. Иначе говоря, мы имѣемъ *эмпирическое* понятіе геніальности, которое оказывается, въ общемъ, достаточно правильнымъ и удобопримѣнимымъ [1].—Какъ извѣстно, это понятіе геніальности обосновано на двухъ главныхъ признакахъ: на *творчествѣ* и *оригинальности*. Нетрудно дать этимъ признакамъ болѣе обстоятельное психологическое истолкованіе. Во-первыхъ, очевидно, геніальность есть *явленіе мысли*, а не чувства и воли, и когда говорятъ: „геній чувства“, „геній дѣйствія“ (напр., послѣднее—о реформаторахъ, о великихъ людяхъ въ политикѣ и т. д.), то это только „фигуральное выраженіе“: въ этихъ случаяхъ геніальность какъ таковая принадлежитъ уму, но этотъ геніальный умъ въ силу особенностей натуры человѣка проявляетъ свою творческую дѣятельность въ сферѣ чувствъ или въ практикѣ жизни. Сами по себѣ чувство или воля не мо-

---

[1]) Можно, конечно, ошибаться, назвавъ такого-то геніемъ или, наоборотъ, отказывая ему въ этомъ названіи; можно спорить, былъ ли, напр., Гельмгольцъ, или Внуковъ, или Пастеръ геніи, или только отличные работники въ своей области. Но это значило бы только, что характерные признаки геніальности у этихъ лицъ выражены не такъ ярко, чтобы быть безспорными.

гутъ быть геніальны или не геніальны, какъ не могутъ быть талантливы или не талантливы.—Далѣе, геніальность какъ особый строй ума характеризуется *силою обобщенія* (въ обширномъ смыслѣ, какъ научномъ и философскомъ, такъ и художественномъ, а равно и „прикладномъ") [1]. Всѣ геніи, какихъ только мы знаемъ, были въ области отвлеченной мысли создателями великихъ научныхъ и философскихъ обобщеній, въ области художественной — создателями широкихъ типовъ, объединяющихъ образовъ, въ лирикѣ и музыкѣ—творцами той высшей „гармоніи", которая въ сферѣ чувствъ является коррелятомъ объединяющей мысли, въ прикладной и въ практической дѣятельности—творцами частнаго, въ которомъ осуществлялось или оправдывалось общее.—Но вѣдь даръ обобщенія—это вообще свойство мысли человѣческой, и всѣ мы обобщаемъ: въ такомъ случаѣ, гдѣ же разница между геніемъ и не-геніемъ? Очевидно, разница въ томъ, что, въ то время какъ мы обобщаемъ шаблонно, пользуясь давно добытыми и ходячими формулами,—геніи создаютъ новыя обобщенія или совершенствуютъ старыя. Умѣніе усмотрѣть вопросъ тамъ, гдѣ другіе его не видятъ, или *умѣніе искать* новыхъ отвѣтовъ на старые вопросы—это характерная, бьющая въ глаза особенность геніевъ, которую можно назвать „творческою пытливостью ума". Не будетъ парадоксомъ сказать, что геніальность есть особый видъ *задумчивости*. Для генія не столько существенно и характерно нахожденіе положительныхъ отвѣтовъ на новые или старые вопросы, сколько „даръ задумчивости", умѣніе ставить вопросы и задумываться надъ ни-

[1]) Геніальность въ сферѣ *прикладной* (т.-е. геніальность изобрѣтателя, какъ Эдиссонъ, полководца какъ Ганнибалъ и Наполеонъ I, политическаго дѣятеля какъ Петръ Великій или Бисмаркъ), очевидно, сводится къ дару нахожденія, созданія, уловленія частнаго случая для приложенія или осуществленія общей идеи (научнаго закона, принципа, правила, идеала и т. д.). Здѣсь творчество направлено не на общее, а на частное, на конкретную дѣйствительность, но оно исходитъ изъ общаго, оно орудуетъ имъ.

ми. „Отвѣты“ (напр., положительныя открытія въ наукѣ), и при томъ „отвѣты“ высокой важности, огромнаго значенія, нерѣдко получаются умами далеко не геніальными, а только обладающими достаточной подготовкой и работоспособностью въ данной области. Въ точныхъ наукахъ путемъ долговременныхъ, методическихъ и кропотливыхъ изысканій зачастую достигаются блестящіе результаты, дѣлаются великія открытія, какихъ не сдѣлаетъ никакой геній. Если бы наука была монополіей геніевъ, она не далеко ушла бы, и не только потому, что геніевъ—сравнительно мало, а еще болѣе потому, что научная дѣятельность во всѣхъ областяхъ изобилуетъ задачами такого рода, что геній оказывается мало приспособленнымъ къ ихъ рѣшенію, задачами, для которыхъ нужны коллективныя усилія многихъ, а также и спеціальные таланты, вовсе не предполагающіе геніальности или даже несовмѣстимые съ нею. Геній всегда «широкъ», а въ наукѣ есть немало такой работы, для удовлетворительнаго исполненія которой нужно быть «узкимъ». —Нетрудно видѣть, что то же самое съ полнымъ правомъ можетъ быть сказано и объ искусствѣ: оно не имѣло бы должнаго развитія, распространенія и вліянія, если бы было монополіей геніевъ. И въ немъ есть много задачъ и вопросовъ, для которыхъ требуется не геніальность съ ея широтою, а спеціальные таланты съ ихъ узостью. Искусство основывается на многообразіи и обиліи наблюденій надъ природой человѣческой и всегда тѣсно связано съ текущими потребностями и запросами культурнаго развитія. Колоссальный складъ «человѣческихъ документовъ», данный въ искусствѣ, могъ быть накопленъ только коллективными усиліями различныхъ художественныхъ дарованій, спеціализировавшихся каждое въ своей области и по необходимости болѣе или менѣе узкихъ и ограниченныхъ.

Эти соображенія приводятъ насъ къ вопросу о принципіальномъ различіи между *геніемъ* и *талантомъ*.

Было бы ошибкою думать, что геніальность—это только высшая степень талантливости. Какъ есть люди, одаренные огромными талантами, но безъ всякихъ признаковъ геніальности, такъ, наоборотъ, легко можно представить себѣ геніальнаго человѣка, не надѣленнаго никакимъ талантомъ.—Талантъ—это нѣчто *спеціальное:* нельзя быть вообще талантливымъ, а можно только имѣть опредѣленный талантъ въ данной области, при чемъ, какъ извѣстно, таланты всегда узко спеціализируются. Напр., въ искусствѣ мы различаемъ, съ одной стороны, таланты поэтическіе, съ другой—живописные, съ третьей—скульптурные, съ четвертой—музыкальные и т. д.; въ каждой изъ этихъ вѣтвей искусства, въ свою очередь, спеціализація дарованія идетъ дальше: различается талантъ лирика отъ таланта драматурга, талантъ пейзажиста — отъ таланта жанриста и т. д., и т. д. Такъ же и въ наукѣ: есть дарованія спеціально математическія, есть дарованіе экспериментатора, наблюдателя - зоолога, наблюдателя - соціолога, есть особая одаренность въ лингвистикѣ и особая—въ другихъ отдѣлахъ филологіи и т. д. Изъ этого, конечно, не слѣдуетъ, чтобы человѣкъ не могъ имѣть двухъ, трехъ и болѣе талантовъ, даже въ весьма различныхъ областяхъ. Но это будетъ не талантливость вообще, а совмѣщеніе двухъ или болѣе спеціальныхъ талантовъ.

Весьма нерѣдко (можетъ быть, пожалуй, и въ большинствѣ случаевъ) геніи оказываются обладателями тѣхъ или другихъ спеціальныхъ талантовъ; но въ этомъ совмѣщеніи мы не видимъ признаковъ *внутренней, психологической, необходимости.* И, повидимому, сама психологія ума, одареннаго тѣмъ или другимъ талантомъ, по существу отлична отъ психологіи геніальности.—Талантъ и геній—это двѣ весьма различныя, какъ психическія, такъ и психо-физическія организаціи.

Наконецъ, упомянемъ и о томъ, что таланты—наслѣдственны или могутъ быть таковыми, между тѣмъ какъ геній, сколько извѣстно, не передается наслѣдственнымъ путемъ.

Человѣкъ, одаренный извѣстнымъ талантомъ (скажемъ, художникъ-пейзажистъ), но не обладающій геніальностью, тѣмъ не менѣе можетъ проявить въ своей дѣятельности тѣ самыя черты, которыми обычно характеризуется геніальность, именно—*творчество* и *оригинальность*. Геніевъ—мало, талантовъ — много, и между послѣдними достаточно извѣстны во всевозможныхъ областяхъ такіе, которымъ никто не откажетъ въ оригинальности и творчествѣ. Оригинально творятъ не одни геніи—на этомъ нѣтъ надобности настаивать. Но если таланты—одно, а геніи—другое, то въ чемъ разница между оригинальностью и творчествомъ первыхъ и оригинальностью и творчествомъ вторыхъ?

Первое, что бросается здѣсь въ глаза,—это слѣдующее.

Творчество человѣка, одареннаго извѣстнымъ талантомъ (но безъ геніальности), такъ сказать, адэкватно его таланту: оно объясняется и, если можно такъ выразиться, «исчерпывается» или, лучше, измѣряется этимъ талантомъ. Напротивъ, творчество генія, обладающаго извѣстнымъ талантомъ, далеко не соизмѣримо съ этимъ послѣднимъ и не можетъ быть объяснено имъ однимъ. Такъ, напр., математическое дарованіе Лобачевскаго едва ли было значительнѣе, скажемъ, соотвѣтственнаго дарованія другихъ математиковъ его времени, хотя бы Остроградскаго, а между тѣмъ никто изъ нихъ не сдѣлалъ того, что сдѣлалъ Лобачевскій. Пусть даже его дарованіе будетъ признано особливо великимъ: все-таки имъ однимъ нельзя объяснить возникновенія въ умѣ этого человѣка геніальной идеи. Не своимъ математическимъ талантомъ, а своимъ геніальнымъ умомъ, геніальною вдумчивостью ума позналъ Лобачевскій возможность новаго вопроса тамъ, гдѣ для другихъ, не менѣе одаренныхъ и сильныхъ математиковъ, никакого вопроса не существовало. Дарованія Дарвина какъ наблюдателя при всей своей значительности, отнюдь не представляли собою чего-то небывалаго: были зоологи и ботаники съ неменьшимъ талантомъ

наблюденія. И для того чтобы обосновать идею измѣняемости видовъ, неоднократно выставлявшуюся и раньше, на новыхъ понятіяхъ борьбы за существованіе, подбора и наслѣдственности, обставленныхъ новыми, оригинальными наблюденіями,—очевидно надо было имѣть еще нѣчто другое, иную творческую силу мысли, особый даръ вдумчивости и проникновенія въ природу данныхъ явленій.

Этотъ характерный признакъ генія, который мы стараемся уловить и описать при помощи выраженій «даръ задумчивости», «вдумчивость», «проникновеніе», обыкновенно обозначается извѣстнымъ терминомъ «*интуиція*».

Желательно было бы пойти нѣсколько дальше термина и указать хотя бы предположительно на тѣ процессы мысли, которые образуютъ психологическую суть «интуиціи».

Повидимому, дѣло сводится здѣсь къ особому укладу безсознательной сферы и ея отношеній къ сознанію. Безсознательная сфера ума, надо думать, у генія отличается не только особымъ богатствомъ идей, но и особою работоспособностью, интенсивною дѣятельностью, направленною на созданіе общихъ идей, на выработку объединяющихъ категорій мысли (у философовъ — общихъ философскихъ принциповъ, у ученыхъ—научныхъ обобщеній, у художниковъ — образовъ и т. д.). Далѣе, очевидно, эта сфера обладаетъ у нихъ необыкновенною чуткостью или воспріимчивостью, такъ что достаточно мимолетнаго впечатлѣнія, случайнаго наблюденія, бѣглой мысли, промелькнувшей въ сознаніи, чтобы возбудить живую работу въ глубинѣ безсознательнаго.

Наконецъ, общеніе или взаимодѣйствіе двухъ сферъ такъ организовано, что безсознательное даетъ сознанію преимущественно общія идеи, категоріи, формы мысли, которыя всегда, такъ сказать, наготовѣ, всегда къ услугамъ сознанія, и потому то, что воспринимается этимъ послѣднимъ изъ внѣшняго міра, изъ той среды, на ко-

торую направлена его дѣятельность, сейчасъ же получаетъ свое истолкованіе, свое обобщеніе и освѣщеніе въ этихъ формахъ мысли. Такъ, у философа всегда бодрствуютъ широкія, мірообъемлющія точки зрѣнія, у ученаго — научныя идеи, у художника—образы. *Это «бодрствованіе» объединяющихъ формъ мысли и есть то, что принято называть интуиціей генія.* Но не слѣдуетъ упускать изъ виду того, что сами эти формы мысли образуютъ нѣчто не только высшее, но и новое: онѣ — отнюдь не элементарны, не составляютъ общаго достоянія. Этотъ процессъ можетъ быть разсматриваемъ какъ гомологъ аналогичнаго процесса, совершающагося у всѣхъ насъ, когда мы говоримъ и мыслимъ. У всѣхъ насъ вѣчно бодрствующими категоріями мысли являются основныя формы мышленія и формы рѣчи. Геніальность есть повтореніе того же процесса въ области высшаго мышленія, при чемъ сами «категоріи» этого высшаго мышленія являются продуктами оригинальной дѣятельности безсознательной сферы ума.

Излишне указывать на то, что этой интуиціей работа мысли генія не ограничивается.

Интуиція даетъ только исходную точку работы; настоящая же работа мысли совершается сознательно, разумѣется, при дальнѣйшемъ участіи безсознательной сферы. Точки зрѣнія, идеи, образы и пр., посылаемые этою послѣднею, фиксируются въ сознаніи, которое подвергаетъ ихъ дальнѣйшей переработкѣ. Идея философа въ томъ видѣ, какъ она вышла изъ глубины безсознательнаго, есть, если можно такъ выразиться, сырой продуктъ, который подлежитъ сознательному обдумыванію, критикѣ, логическому обоснованію, провѣркѣ данными опыта, внѣшняго и внутренняго. Обобщающая идея ученаго должна быть доказана или согласована съ фактами, она должна быть *утилизирована* въ процессѣ сознательной, методической работы изслѣдованія. Образъ художника требуетъ дальнѣйшей разработки, основанной на сознательныхъ

наблюденіяхъ и размышленіяхъ. Вотъ именно во всѣхъ этихъ дѣятельностяхъ сознанія и вступаетъ въ свои права то, что называется *талантомъ*. Философу, чтобы не остаться при однѣхъ интуиціяхъ, нужно имѣть, кромѣ знаній, еще спеціально-философскій талантъ, который и скажется такъ или иначе въ сознательной работѣ его мысли. Ученый проявитъ свой спеціальный талантъ въ той работѣ наблюдателя, экспериментатора, систематизатора, аналитика и т. д., которая обусловливается самой природой изучаемыхъ явленій. Художникъ долженъ, кромѣ интуитивныхъ идей образовъ, имѣть спеціальный художественный талантъ, необходимый, во-первыхъ, для разработки самихъ образовъ, а во-вторыхъ, для ихъ выраженія средствами того или другого искусства (словомъ, красками, лѣпкой и т. д.).

Повидимому, эта сознательная работа, основанная на соотвѣтственномъ талантѣ, при нормальныхъ условіяхъ, при успѣшномъ ходѣ ея представляетъ собою количественно и качественно, величину пропорціональную работѣ интуитивной, т.-е. тому, что совершалось въ сферѣ безсознательной. Чѣмъ шире, глубже, значительнѣе интуиція, тѣмъ продолжительнѣе, упорнѣе, методичнѣе должна быть соотвѣтствующая ей работа сознанія. Чѣмъ выше геній, тѣмъ больше онъ трудится. Огромная ученая работа Дарвина прямо пропорціональна значенію и достоинству его интуицій. Кажется, это положеніе можетъ быть провѣрено и оправдано фактами изъ жизни и дѣятельности геніевъ на всѣхъ поприщахъ творчества.

II.

Послѣ этихъ предварительныхъ разъясненій и соображеній, мы можемъ придти къ нѣкоторымъ заключеніямъ по занимающему насъ вопросу о вліяніи геніальности на всю психику человѣка.

Геніальность, какъ мы ее понимаемъ, не можетъ не

играть видной роли на сценѣ душевной жизни человѣка, а въ особенности — за ея кулисами. Она — сила, и по обходимости такъ или иначе сказывается и дѣйствуетъ.

И прежде всего сказывается она такъ, что, въ извѣстномъ смыслѣ, раздваиваетъ личность человѣка. Послѣдній невольно чувствуетъ, что онъ какъ геній — одно, а какъ человѣкъ жизни и будней — ужъ другое. Интуиція генія—не ко двору среди текущихъ заботъ, тревогъ и злобъ дня, среди «дрязги» жизни, какъ выражался Гоголь, и зачастую въ этой средѣ положеніе генія оказывается ложнымъ и неудобнымъ. Генію трудно быть хорошимъ обывателемъ, потому что онъ во власти своихъ интуицій, которыя уносятъ его далеко въ сторону отъ окружающей среды, хотя бы она и была главнымъ объектомъ его думъ и его творчества. Онъ видитъ жизнь сквозь призму своихъ идей, — и это очень хорошо для созданія «философіи» жизни, но очень скверно—для непосредственнаго, активнаго или пассивнаго участія въ ней. *Оттуда — особое общественное самочувствіе генія, очевидно, не такое, какъ у насъ. Мы* въ нашей соціальной стихіи — какъ рыба въ водѣ, *они* въ ней — *чужіе*, помимо всякихъ стремленій къ протесту, къ реформѣ и т. д. Геній по самой сути своей въ извѣстной мѣрѣ и въ нѣкоторомъ смыслѣ есть существо «*антиобщественное*»: онъ—слишкомъ *личность*, чтобы уживаться въ человѣческомъ стадѣ, и слишкомъ принадлежитъ человѣчеству, чтобы всецѣло отдаться опредѣленному цѣлому, ограниченному во времени и пространствѣ. Фактически геніи, разумѣется, уживаются въ своей средѣ, но почти всегда такъ, что живутъ уединенно, своей работой, своими интересами, своими думами,—чуждые если не всему, то многому, что творится въ этой средѣ, чѣмъ «живы» окружающіе ихъ люди, что ихъ заботитъ и волнуетъ... Далеко не всегда геніи отдаютъ себѣ отчетъ въ этомъ: часто они сами этого не замѣчаютъ, и имъ кажется, будто они тоже участвуютъ въ общей жизни. Иные симулируютъ

это участіе. Другіе стараются войти въ интересы общества или извѣстной части его. Но, я думаю, едва ли найдется геній, который бы хоть разъ въ жизни не почувствовалъ фатальнаго, психически-необходимаго разлада съ общественной средой,—своей отчужденности отъ нея. Оттуда между прочимъ—предрасположенность генія къ пессимизму разныхъ степеней и оттѣнковъ, которому вовсе не обязательно непремѣнно быть философскимъ и систематизированнымъ. Онъ можетъ даже не сознаваться какъ таковой, онъ можетъ быть заслоненъ иною доктриною, но рано или поздно такъ или иначе онъ скажется, какъ, напр., сказался онъ у жизнерадостнаго Пушкина въ стихахъ:

Въ степи мірской, печальной и безбрежной,
Таинственно пробились три ключа:
Ключъ юности, ключъ быстрый и мятежный,
Бѣжитъ, кипитъ, сверкая и журча;
Кастальскій ключъ волною вдохновенья
Въ степи мірской изгнанниковъ поитъ;
Послѣдній ключъ—холодный ключъ забвенья,—
Онъ слаще всѣхъ жаръ сердца утолитъ...

Геній даже при наилучшихъ личныхъ обстоятельствахъ чувствуетъ «тяготу бытія», именно «тяготу соціальнаго бытія», въ большей мѣрѣ, чѣмъ другіе люди, даже чѣмъ тѣ, которые по призванію являются критиками общественнаго строя, «отрицателями», реформаторами.

Будучи «слишкомъ личностью» и очень плохимъ «соціальнымъ животнымъ» и потому такъ или иначе чувствуя «тяготу соціальнаго бытія», геній тѣмъ не менѣе (и даже тѣ изъ нихъ, которые одержимы настоящимъ пессимизмомъ) живо чувствуетъ радость бытія вообще и является однимъ изъ самыхъ жизнерадостныхъ существъ.

Это противорѣчіе, въ значительной мѣрѣ только кажущееся, вытекаетъ изъ самой психологіи геніальности и вноситъ новыя осложненія въ душевный міръ геніальнаго человѣка.

Чтобы это понять, нужно сдѣлать одно добавленіе къ тому, что выше было сказано о психологическомъ укладѣ генія.

Въ ряду идей, служащихъ необходимыми формами нашего мышленія, есть одна такая, которой мы въ нашемъ обыденномъ, житейскомъ мышленіи чуждаемся, даже боимся, и она остается у насъ скрытой, лишь изрѣдка проникая въ сознаніе: *это идея безконечнаго.* Безъ нея мы не можемъ въ сущности мыслить ни пространства, ни времени. Безъ нея немыслима математика, даже элементарная. Безъ нея (въ формѣ тезиса вѣчности матеріи и силы) невозможенъ простѣйшій физическій или химическій опытъ. Можно было бы раскрыть ея огромную психологическую важность въ искусствѣ. Такъ вотъ именно эта идея, прячущаяся и ускользающая у насъ, всегда бодрствуетъ у геніевъ, и ихъ интуиціи всегда такъ или иначе, прямо или косвенно сопряжены съ нею. *Геній мыслитъ при особливо дѣятельномъ участіи категоріи безконечнаго,* «sub specie aeternitatis». Излишне пояснять, насколько этотъ типъ мышленія не подходитъ къ требованіямъ, вѣяніямъ, духу общественности и повседневности, гдѣ все—преходяще и условно, гдѣ нужно жить настоящимъ, котораго съ точки зрѣнія вѣчности, собственно говоря, не существуетъ и которое есть одна изъ иллюзій обыденнаго мышленія [1]). Идея безконечнаго и является для генія источникомъ особой «радости существованія».

Намъ трудно понять этотъ укладъ сознанія, озареннаго *идеей безконечнаго,* и этотъ общій строй души, въ которой бодрствуетъ особое чувство, намъ едва доступное,— *чувство безконечнаго.* Но непроходимой пропасти между ними и нами все-таки нѣтъ: они тоже — люди, а въ нашемъ распоряженіи—ихъ творенія, по которымъ мы все-

---

[1]) *Настоящее*—это неуловимая, всегда уходящая, моментальная грань между *прошедшимъ* и *будущимъ.* Оно существуетъ только въ *языкѣ,* образуя одну изъ формъ *грамматическаго* мышленія.

таки имѣемъ нѣкоторую возможность представить себѣ хотя бы приблизительно самочувствіе и самосознаніе человѣка, мыслящаго и чувствующаго безконечное. Ихъ душа согрѣта особою радостью существованія, открывающеюся ихъ сознанію подъ видомъ радости творчества. И ею не то уравновѣшивается, не то странно осложняется психологическій пессимизмъ генія. Эту смѣсь радости и скорби мы найдемъ и у Спинозы, и у Канта, и у Шопенгауэра, и у Ренана, какъ съ другой стороны найдемъ ее у геніевъ искусства. Я думаю, и геніи спеціальной науки—Дарвины, Лапласы, Галилеи, Ньютоны — не составляютъ исключенія изъ этого правила, но они слишкомъ заняты своими изысканіями, и имъ нѣкогда предаваться этимъ чувствамъ и выражать ихъ.

При огромномъ разнообразіи натуръ, характеровъ, темпераментовъ, воспитанія, привычекъ и т. д. общій всѣмъ геніямъ укладъ духа разнообразится и видоизмѣняется въ различныхъ направленіяхъ. Особенности ума и разные виды дарованія также должны оказывать свое вліяніе на постановку въ душѣ идеи и чувства безконечнаго, на то, какъ психика реагируетъ на нихъ.

Теперь мы можемъ вернуться къ Гоголю.

III.

Изучать психологію генія намъ, простымъ смертнымъ, легче и удобнѣе по художникамъ, чѣмъ по философамъ и ученымъ: художники какъ-то ближе къ намъ, понятнѣе намъ, да и творчество ихъ обращено на насъ же и ограничивается *человѣческимъ*. Если мы изучили и поняли творенія великаго поэта, то намъ уже не такъ трудно отчасти разобраться и въ его душѣ, дешифрировать нѣкоторые изъ ея гіероглифовъ.

Натура Гоголя, сама по себѣ загадочная, исполненная противорѣчій и странностей, была осложена еще безспорною *геніальностью*, которую нужно отличать отъ его

огромнаго художественнаго таланта. До сихъ поръ, изучая умъ, натуру, вообще душевный укладъ Гоголя, мы значительно упрощали задачу тѣмъ, что разсматривали его такъ, какъ будто бы онъ не былъ геній. Мы только принимали въ соображеніе его художественный талантъ. Но мы уже согласились, что талантъ—это одно, а геній — это другое. И вотъ именно у Гоголя независимо отъ таланта ясно различаются характерные признаки геніальности: исключительная оригинальность въ творчествѣ, «даръ задумчивости», изумительная художественная интуиція, глубокое проникновеніе во все то, на что были направлены его созерцанія, наконецъ, столь характерная для генія смѣсь скорби и мизантропіи съ радостью бытія и творчества.

Онъ отнюдь не былъ *только* высоко-даровитымъ художникомъ, который умѣетъ смотрѣть и видѣть, схватывать и рисовать. Онъ умѣлъ это дѣлать, но еще больше умѣлъ онъ вдумываться въ жизнь человѣческую, болѣть ею, претворять ее въ выстраданный внутренній опытъ, въ смѣхъ и слезы художника, въ созерцанія и скорбь мыслителя. И много было въ немъ той «глубины душевной», безъ которой нельзя «озарить картину, взятую изъ презрѣнной жизни, и возвести ее въ перлъ созданія». Съ однимъ талантомъ своимъ, какъ бы онъ ни былъ великъ, онъ не могъ бы «вызвать наружу все, что ежеминутно предъ очами и чего не зрятъ равнодушныя очи,— всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавшихъ нашу жизнь, всю глубину холодныхъ, раздробленныхъ, повседневныхъ характеровъ, которыми кишитъ наша земная, подчасъ горькая и скучная дорога...».

«Тина мелочей, опутавшихъ нашу жизнь», «раздробленіе характеровъ», пошлое въ повседневности, «дрязгъ жизни»—вотъ на что были по преимуществу направлены художественныя созерцанія Гоголя, надъ чѣмъ чаще всего онъ задумывался и скорбѣлъ и что наполняло его душу чувствами мизантропіи, тяготы существованія въ обще-

ствѣ, среди людей. Оттуда у него періодически повторявшееся стихійное стремленіе бѣжать отъ общества, глубокая потребность уединенія, влеченіе къ своеобразному «отшельничеству». То, что выше мы назвали «антиобщественнымъ» настроеніемъ въ психикѣ генія, проявлялось у Гоголя съ особливою силою и яркостью, почти съ властью инстинкта. И оно обнаруживалось тѣмъ опредѣлительнѣе, что Гоголь, какъ мы старались показать это въ главѣ III-ей, былъ по натурѣ своей человѣкъ съ особливо-сильно выраженнымъ стремленіемъ къ осуществленію своей общественной стоимости. Однимъ изъ главныхъ препятствій къ ея осуществленію и являлась, помимо всего прочаго, его геніальность, или, точнѣе, тѣ особенности геніальнаго уклада личности, которыя мѣшаютъ человѣку быть «хорошимъ обывателемъ», быть надлежащимъ дѣятелемъ жизни, сформироваться въ величину общественную, имѣющую свое опредѣленное мѣсто и значеніе въ соціальной средѣ. У нѣкоторыхъ другихъ (напр., у Байрона) этотъ стихійный, чисто психологическій разладъ между геніемъ и соціальною средой заслоняется или преобразуется дѣйствіемъ положительныхъ идей, идеаловъ, общественныхъ или политическихъ ученій и т. д., усвоенныхъ геніальнымъ человѣкомъ и идущихъ въ разрѣзъ съ данными, установившимися формами общественнаго строя и сознанія. Какъ извѣстно, у Гоголя ничего подобнаго не было. Все, что отзывалось «политикой», освободительными идеями вѣка, общественною реформою, было ему чуждо и даже на ряду съ гегеліанствомъ и вообще движеніемъ философской мысли внушало ему родъ суевѣрнаго страха. А его морально-религіозные интересы и стремленія были по существу консервативны и сами по себѣ не могли привести къ конфликту съ общественной средой, взятой въ ея цѣломъ. Такъ называемая «ссора съ соотечественниками» была только частнымъ недоразумѣніемъ, нерѣдко возникающимъ между сатириками и публикой. И если бы эта сатира основывалась только

на талантѣ «комическаго писателя» и не имѣла бы болѣе глубокаго источника въ интуиціяхъ генія, она не могла бы привести къ тому внутреннему, психологическому разладу, о которомъ мы говоримъ.

Когда происходитъ открытая, болѣе или менѣе бурная, «ссора» генія съ обществомъ, тогда по всей справедливости виноватымъ приходится признать генія: онъ не долженъ давать слишкомъ яркаго и опредѣленнаго выраженія своему анти-общественному настроенію, своей мизантропіи, чувствамъ отвращенія къ человѣческой пошлости, шаблонности, стадности—ко всему, что составляетъ неотъемлемую принадлежность *всякой* общественной среды, даже самой передовой и просвѣщенной. Этотъ порядокъ чувствъ долженъ мирно спать въ глубинѣ души генія. Законное выраженіе эти чувства могутъ имѣть въ частной перепискѣ, въ мемуарахъ, не подлежащихъ оглашенію при жизни,—но имъ не должно быть мѣста въ самомъ творчествѣ генія. Ибо ихъ по праву можно причислить къ тѣмъ душевнымъ движеніямъ, о которыхъ въ главѣ III мы сказали, что они имѣютъ свой смыслъ и свою душевную правду, пока они скрыты, но становятся ложью, когда обнаружены. На этомъ основаніи мы считаемъ «ложью», напр., «Чернь» Пушкина, а также и его знаменитый сонетъ «Поэтъ, не дорожи любовію народной», аналогичныя заявленія Гейне въ стихахъ и прозѣ [1]) и т. п., вообще всякаго рода откровенныя признанія генія на тему «Odi profanum vulgus». Въ этомъ смыслѣ весьма примѣнимо Тютчевское:

Молчи, скрывайся и таи
И чувства, и мечты свои...

Надо отдать справедливость Гоголю: его сатира, его смѣхъ отнюдь не дышатъ презрѣніемъ къ роду человѣческому. Его самомнѣніе, такъ часто дающее знать себя

---

[1]) О чемъ см. въ моей книгѣ „Вопросы психологіи творчества“, въ статьѣ о Гейне, стр. 171—175.

въ письмахъ, почти не находитъ выраженія въ его творчествѣ, въ его работѣ художника. Оно вытекало изъ его личнаго характера, изъ того эгоцентрическаго уклада его натуры, о которомъ мы говорили въ гл. III, оно не было внушеніемъ его генія.

Эти внушенія были у него иныя: они выражались въ бѣгствѣ отъ людей, въ самоуглубленіи, въ пристрастіи къ созерцательной, отшельнической жизни, въ горделивыхъ замыслахъ нравственнаго проповѣдничества, наконецъ, какъ частный случай, въ одной на первый взглядъ странной и «дикой» особенности его душевнаго склада, указаніемъ на которую мы и закончимъ нашъ посильный опытъ психологическаго изученія этого великаго загадочнаго человѣка.

Я имѣю въ виду тѣ тайныя душевныя побужденія или стимулы, въ силу которыхъ Гоголь былъ въ своемъ родѣ *кочевникъ*, а не осѣдлый обыватель,—и которыя у него, вѣчнаго странника, являлись могучими пружинами его художественнаго творчества, необходимымъ условіемъ расцвѣта его поэтическихъ думъ, кристаллизаціи его художественныхъ замысловъ.

IV.

«Въ дорогу, въ дорогу!» — таковъ живой лозунгъ Гоголя,—и глубокой, личной правдой, настоящимъ исповѣданіемъ поэта звучатъ въ «Мертвыхъ душахъ» страницы, посвященныя описанію «дороги», ея освѣжающихъ впечатлѣній, ея благотворнаго утомленія, ея поэзіи. Вспомнимъ знаменитое мѣсто въ XI главѣ, 1 части «Мертвыхъ душъ», начинающееся такъ: «Какое странное, и манящее, и несущее, и чудесное въ словѣ: дорога! И какъ чудна она сама, эта дорога!» Характерно и знаменательно окончаніе этой тирады: «Боже! какъ ты хороша подчасъ, далекая, далекая дорога! *Сколько разъ, какъ погибающій и тонущій, я хватался за тебя, и ты всякій разъ меня великодушно выносила и спасала! А сколько*

[illegible] [illegible] [illegible] [

не имѣетъ теперь на меня вліянія. Я ихъ не вижу, не чувствую. *Мнѣ бы дорога теперь, да дорога въ дождь, слякоть, черезъ лѣса, черезъ степи, на край свѣта!* [1]). Вчера и сегодня было скверное время—и въ это скверное время я какъ будто бы ожилъ. *Такъ вотъ все мнѣ хотѣлось или броситься въ дилижансъ, или хоть на перекладную...»* [1]).

Въ письмѣ къ Плетневу отъ 30 окт. того же 1840 г., изъ Рима, онъ жалуется: «Геморроидъ мнѣ бросился въ грудь, и нервическое раздраженіе, котораго я въ жизнь никогда не зналъ, произошло во мнѣ такое, что я не могъ ни лежать, ни сидѣть, ни стоять...». Но, замѣтимъ, могъ отлично путешествовать. — «Уже медики, — продолжаетъ онъ, — было махнули рукой, но одно лѣкарство меня спасло неожиданно: я велѣлъ себя положить ветурину въ дорожную коляску,—*дорога спасла меня* [1]). Три дня, которые я провелъ въ дорогѣ, меня нѣсколько возстановили...».

Въ письмѣ къ Шевыреву (28 ферв. 1843 г., изъ Рима) находимъ въ высокой степени характерныя строки: «*Голова моя такъ странно устроена, что иногда мнѣ вдругъ нужно пронестись нѣсколько сотъ верстъ и пролетѣть разстояніе для того, чтобы мѣнять одно впечатлѣніе другимъ, уяснить духовный взоръ и быть въ силахъ обхватить и обратить въ одно то, что̀ мнѣ нужно*» [1]).

Столь же характерно и важно слѣдующее мѣсто въ письмѣ къ Плетневу (4 іюля 1846 г.): «Дорога дѣйствуетъ лучше (лѣченія холодной водой). Видно на то воля Божья, *и мнѣ нужно, болѣе чѣмъ кому-либо, считать свою жизнь безпрерывной дорогой и не останавливаться ни въ какомъ мѣстѣ иначе, какъ на временный ночлегъ и минутное отдохновеніе. Головѣ моей и мыслямъ лучше въ дорогѣ;* даже я зябну меньше въ до-

---

[1]) Курсивъ мой.

рогѣ, *и сердце мое слышитъ, что Богъ мнѣ поможетъ совершить въ дорогѣ все то, для чего орудія и силы во мнѣ доселѣ созрѣвали*».

По всему видно, что «дорога» дѣйствовала благотворно прежде всего на психику Гоголя, а потомъ уже, черезъ посредство психики, и на его физическое здоровье. Мы, кажется, не ошибемся, если въ этомъ оздоровляющемъ дѣйствіи будемъ различать двѣ стороны: *во-первыхъ, стихійное проявленіе слѣпого инстинкта, глубоко заложеннаго въ натурѣ Гоголя, и, во-вторыхъ, утилизацію этого инстинкта въ интересахъ умственнаго и вообще душевнаго благосостоянія, — интересахъ, обусловленныхъ геніальностью Гоголя.* Онъ, и не будучи геніемъ, все равно былъ бы «вѣчнымъ странникомъ»; *но его геній, если можно такъ выразиться, воспользовался этою особенностью его натуры въ своихъ цѣляхъ и интересахъ.*

Постараемся нѣсколько яснѣе представить себѣ психологію той и другой стороны.

Первая сторона, т.-е. самый инстинктъ, побуждающій странствовать, обнаруживается въ приведенныхъ выдержкахъ довольно отчетливо. И мы имѣемъ всѣ основанія отнести Гоголя къ числу тѣхъ, которыхъ можно назвать «прирожденными путешественниками», «вѣчными странниками», не способными къ постоянной осѣдлой жизни на одномъ мѣстѣ. Такія натуры душевно увядаютъ, когда имъ приходится слишкомъ долго засиживаться на одномъ мѣстѣ, и душевно расцвѣтаютъ въ странствованіяхъ. Въ народѣ сюда принадлежатъ неисправимые бродяги по призванію, разные «странники» и «паломники», въ образованномъ обществѣ — страстные путешественники, какъ ученые, такъ и не ученые, неугомонные туристы, которымъ не сидится на мѣстѣ. Инстинкты этого рода должны быть разсматриваемы какъ перерожденное и оживленное психологическое наслѣдіе отъ временъ отдаленныхъ. Таковъ же между прочимъ и инстинктъ охотника

Въ душевной экономіи современнаго человѣка этого рода наслѣдія старины получаютъ своеобразную постановку, сочетаясь съ другими сторонами натуры, съ особенностями характера или ума. Въ этомъ видѣ инстинктивное влеченіе, напр., къ охотѣ, къ путешествіямъ является живою душевною потребностью, удовлетвореніе которой безусловно необходимо для поддержанія душевнаго равновѣсія человѣка, для его какъ физическаго, такъ и психическаго благополучія. Нерѣдко на такихъ инстинктахъ основывается и то, что мы называемъ «призваніемъ» человѣка. Очень вѣроятно, что, напр., военное призваніе Суворова, Наполеона I и т. д. было по преимуществу обосновано на соотвѣтственномъ инстинктѣ. И любопытно въ разныхъ случаяхъ этого рода наблюдать заблаговременное, наивное, ребяческое выраженіе инстинктивныхъ влеченій въ играхъ ребенка, въ неясныхъ стремленіяхъ или мечтахъ юноши. Это мы видимъ у Гоголя, въ его первомъ литературномъ опытѣ, въ пресловутой поэмѣ «Гансъ Кюхельгартенъ», гдѣ неумѣло и аляповато, дубовыми стихами, воспроизведено все то же стремленіе въ чужіе края, все та же страсть къ путешествіямъ. Первая поѣздка Гоголя за границу въ 1829 г. на деньги, которыя онъ долженъ былъ внести въ опекунскій совѣтъ [1]), была какъ бы повтореніемъ или перенесеніемъ въ дѣйствительность мотива, выраженнаго въ юношескомъ сочиненіи. Сочиненіе это Гоголь сжегъ, но не могъ удержаться отъ соблазна самому разыграть роль своего героя.

Въ душевномъ состояніи Гоголя, выразившемся въ этой первой его поѣздкѣ заграницу, очень и очень трудно разобраться, потому что важнѣйшій документъ, сюда относящійся (письмо къ матери отъ 24 іюля 1829 г.), исполненъ юношеской реторики и также разныхъ выдумокъ. Такъ, между прочимъ, онъ ссылается здѣсь на несчаст-

---

[1]) Это, какъ извѣстно, одинъ изъ наиболѣе темныхъ въ психологическомъ смыслѣ эпизодовъ въ его жизни.

ную любовь, въ силу которой будто бы ему необходимо было бѣжать заграницу. Весьма вѣроятно, что ничего подобнаго не было, и Гоголь сочинилъ всю эту исторію [1]). Въ другомъ письмѣ (изъ Любека, 13 авг. 1829 г.) онъ уже выставляетъ другой мотивъ—болѣзнь и необходимость лѣчиться водами, но и это оказываются ложью [2]). Но есть одно, что можно распознать во всемъ этомъ сцѣпленіи реторики, выдуманныхъ мотивовъ и прямой лжи: это именно стихійное, безотчетное, фатальное стремленіе «въ дорогу», въ чужіе края, живая, настоятельная потребность «проѣздиться», совершить путешествіе безъ опредѣленной цѣли, безъ ясно сознанной задачи. «Дорога» была сама по себѣ цѣлью, а въ такой безцѣльности поступковъ и сказывается дѣйствіе инстинкта. Но послушаемъ, какъ онъ, въ вышеуказанномъ письмѣ (24 іюля 1829 г.) изображаетъ свое душевное состояніе, стараясь мотивировать свой поступокъ: «Теперь, собираясь съ силами писать къ вамъ, не могу понять, отъ чего перо дрожитъ въ рукѣ моей; мысли тучами налегаютъ одна на другую, не давая одна другой мѣста, и непонятная сила нудитъ и вмѣстѣ отталкиваетъ ихъ излиться предъ вами и высказать всю глубину истерзанной души...». Дѣло въ томъ, что онъ разочаровался въ возможности для себя устроиться на службѣ въ Петербургѣ такъ, что бы это доставляло ему должное внутреннее удовлетвореніе и отвѣчало его честолюбивымъ помысламъ. Свои неудачи и разочарованія онъ приписываетъ тому, что, стремясь устроиться въ Петербургѣ, на службѣ, онъ «воспротивился» нѣкоторому внушенію свыше, стихійному влеченію въ чужіе края, вложенному въ его душу

---

[1]) „... Я увидалъ, что мнѣ нужно бѣжать отъ самого себя... Въ умиленіи я призналъ невидимую Десницу, пекущуюся о мнѣ, и благословилъ такъ дивно назначаемый путь мнѣ...“.

[2]) Гоголь пишетъ, что у него обнаружилась сыпь. По свидѣтельству А. С. Данилевскаго, никакой сыпи не было, и Гоголь поѣхалъ не лѣчиться, а думалъ совсѣмъ уѣхать въ Америку.

самимъ Богомъ. И вотъ теперь Господь наказываетъ его... Этимъ наказаніемъ и послужила «несчастная любовь». «Я чувствую,—восклицаетъ онъ,—налегшую на меня справедливымъ наказаніемъ тяжкую десницу Всемогущаго. Но какъ ужасно это наказаніе! Безумный! Я хотѣлъ было противиться *этимъ вѣчно-неумолкаемымъ желаніямъ души* [1]), которыя одинъ Богъ вдвинулъ въ меня, претворивъ меня въ жажду, ненасытимую бездѣйственною разсѣянностью свѣта. *Онъ указалъ мнѣ путь въ землю чуждую* [1]), чтобы воспиталъ свои страсти въ тишинѣ, въ уединеніи, въ шумѣ вѣчнаго труда и дѣятельности, чтобы я самъ по нѣсколькимъ ступенямъ поднялся на высшую, откуда бы былъ въ состояніи разсѣивать благо и работать на пользу міра». Все это еще не ложь, а только реторика, по-своему правдиво воспроизводящая внутреннюю реторику приподнятыхъ душевныхъ состояній юноши, богатаго духовными силами, дающими чувствовать себя, и съ огромнымъ, но пока темнымъ, невѣдомымъ призваніемъ. Если мысленно устранимъ это реторическое движеніе души, то въ ея глубинѣ обнажится «голый» фактъ инстинктивнаго влеченія къ странствованіямъ, къ перемѣнѣ мѣста и впечатлѣній, — влеченія, въ силу особыхъ обстоятельствъ пробудившагося и заявившаго о себѣ въ данное время съ необычайной силой.

Впослѣдствіи, въ «Авторской исповѣди» (1847 г.) онъ вспомнитъ объ этомъ эпизодѣ. Здѣсь мы находимъ слѣдующую попытку объяснить и осмыслить свое стихійное влеченіе къ странствованіямъ за предѣлами отечества. «Мое разстроившееся здоровье и вмѣстѣ съ нимъ маленькія непріятности, которыя я бы теперь перенесъ легко, заставили меня подняться въ чужіе края. Я никогда не имѣлъ влеченія и страсти къ чужимъ краямъ (?). Я не имѣлъ также того безотчетнаго любопытства, которымъ бываетъ снѣдаемъ юноша, жадный впечатлѣній...».

---

[1]) Курсивъ мой.

Это — неправда. Влеченіе перенестись въ чужіе края въ немъ несомнѣнно было, равно какъ и «безотчетное любопытство» юноши. Стоитъ только пробѣжать его письма, писанныя имъ во время первой поѣздки (изъ Любека, Гамбурга и другихъ мѣстъ), чтобы убѣдиться въ этомъ: очутившись за границей, онъ именно съ «безотчетнымъ любопытствомъ» осматриваетъ германскіе старинные города съ ихъ готическими храмами, узкими улицами, уносящими воображеніе въ средніе вѣка; его занимаютъ и нравы, и костюмы жителей; на все смотритъ онъ широко открытыми глазами юноши, «жаднаго впечатлѣній», и подробно описываетъ все виданное въ живыхъ и яркихъ очеркахъ. Письма эти вообще принадлежатъ къ числу лучшихъ, наиболѣе «свѣжихъ» и содержательныхъ въ огромной коллекціи писемъ Гоголя.

«Но, странное дѣло! даже въ дѣтствѣ, даже во время школьнаго ученія, даже въ то время, когда я помышлялъ только объ одной службѣ, а не о писательствѣ, мнѣ всегда казалось, что въ жизни моей мнѣ предстоитъ какое-то большое самопожертвованіе и что именно для службы моей отчизнѣ я долженъ буду воспитаться гдѣ-то вдали отъ нея. Я не зналъ, ни какъ это будетъ, ни почему это нужно; я даже не задумывался объ этомъ, *но видѣлъ самого себя такъ живо въ какой-то чужой землѣ тоскующимъ по своей отчизнѣ, картина эта такъ часто меня преслѣдовала, что я чувствовалъ отъ нея грусть* [1]). Быть можетъ, это было просто то непонятное поэтическое влеченіе, которое тревожило иногда и Пушкина, ѣхать въ чужіе края единственно за тѣмъ, чтобы, по выраженію его,

Подъ небомъ Африки моей
Вздыхать о сумрачной Россіи.

«Какъ бы то ни было, *но это противовольное мнѣ самому влеченіе было такъ сильно* [1]), что не прошло пяти

---

[1]) Курсивъ мой.

мѣсяцевъ по прибытіи моемъ въ Петербургъ, какъ я сѣлъ уже на корабль, *не будучи въ силахъ противиться чувству, мнѣ самому непонятному»* [1]).

Какъ въ 1829 году истинный мотивъ—стихійное влеченіе къ странствованіямъ — пробивался сквозь реторику и выдумки, такъ и здѣсь пробивается онъ наружу сквозь тѣ толкованія, которыя были внушены Гоголю его теперешнимъ положеніемъ и всѣмъ ходомъ его творчества за истекшія послѣ поѣздки 1829 года 18 лѣтъ. На этотъ разъ инстинктъ вѣчнаго странника былъ заслоненъ и перетолкованъ не будущимъ неизвѣстнымъ призваніемъ юноши, какъ тогда, а уже совершившимся и выяснившимся призваніемъ великаго національнаго поэта-сатирика. Теперь его первая поѣздка за границу явилась для него самого—въ новомъ свѣтѣ: ему теперь казалось, что тогда онъ поѣхалъ въ чужіе края движимый тѣмъ стихійнымъ стремленіемъ художника созерцателя Руси изъ прекраснаго далека, которое проявилось позже, въ его послѣдующихъ странствованіяхъ. Такъ и въ нѣкоторыхъ изъ вышеприведенныхъ выдержекъ изъ писемъ весьма опредѣленно сказывается рядомъ съ «органическою» потребностью странствовать также и поэтическая потребность художника, которому необходимы новыя впечатлѣнія, и котораго умъ въ дорогѣ пробуждается къ творчеству.

Но тотъ же инстинктъ «вѣчнаго странника» съ годами сочетался и съ другими душевными стремленіями и запросами, которыми и перетолковывался въ другую сторону. Въ письмахъ мы находимъ указанія на то, что «дорога» была нужна ему не только какъ художнику, но и какъ человѣку, занятому «своимъ душевнымъ дѣломъ»; она является однимъ изъ орудій его «самовоспитанія». «Странствованія» упоминаются рядомъ съ «уединеніемъ», «отлученіемъ отъ міра», самоуглубленіемъ, молитвами. Повидимому, «въ дорогѣ», отвлекаясь отъ разсѣянія буд-

---

[1]) Курсивъ мой

ней, отъ «дрязга» жизни, онъ «собиралъ» свою душу,— и она настраивалась не только на высоко-поэтическій, но и на высоко-религіозный ладъ. Гоголь-непосѣда, Гоголь, странствующій поэтъ, въ то же время былъ и своеобразнымъ *религіознымъ странникомъ* и, при все усиливающейся наклонности къ крайней мистикѣ, уже готовъ былъ превратиться въ настоящаго *паломника*. Его путешествіе въ Палестину было именно паломничествомъ въ тѣсномъ и точномъ смыслѣ слова, и въ этой поѣздкѣ насъ поражаетъ отсутствіе всякихъ проявленій художественныхъ силъ Гоголя,—точно въ немъ умеръ великій художникъ, и даже притупилась его наблюдательность и впечатлительность туриста. По всему видно, что онъ весь былъ поглощенъ одной идеей, однимъ могучимъ позывомъ къ покаянію, къ исповѣданію, къ очищенію души своей у Гроба Господня...

Такъ проявлялся, такъ дѣйствовалъ, служа другимъ, высшимъ сторонамъ и стремленіямъ души, поэтическимъ, религіознымъ, глубоко коренившійся въ душѣ Гоголя слѣпой инстинктъ «вѣчнаго странника».

Не менѣе важныя услуги оказывалъ тотъ же инстинктъ *самому генію* Гоголя. Постараемся очертить ихъ, какъ умѣемъ.

V.

Если бы, предположимъ, Гоголь лишенъ былъ возможности путешествовать и велъ бы осѣдлый образъ жизни въ Петербургѣ или Москвѣ, то и въ такомъ случаѣ его огромное художественное дарованіе не могло бы не проявиться такъ или иначе: онъ наблюдалъ бы жизнь, улавливалъ бы ея типическія черты и воплощалъ бы ихъ въ художественные образы, нарисованные съ большимъ или меньшимъ искусствомъ. Но навѣрное можно утверждать, что это творчество не было бы отмѣчено печатью той изумительной геніальности, какою проникнуто величайшее твореніе Гоголя—«Мертвыя Души». Геніальность этой без-

смертной книги, т.-е. необычайная вдумчивость, оригинальность интуицій, глубина созерцаній, въ ней проявившіяся, находились въ тѣснѣйшей психологической связи съ странствованіями Гоголя, съ благотворнымъ воздѣйствіемъ «дороги» на его умъ и всю психику. Въ «дорогѣ» онъ становился мыслителемъ, созерцателемъ, — и непосредственныя впечатлѣнія дѣйствительности, отъ которыхъ онъ бѣжалъ, перерабатывались въ глубинѣ его безсознательной сферы силою его геніальной интуиціи. Глубокою душевною правдою дышатъ тѣ мѣста его писемъ, гдѣ онъ говоритъ, что ему, для того чтобы «оглянуть» Россію со всѣхъ сторонъ и понять ее, необходимо сперва изъѣздить всю Европу.

Когда у него идетъ рѣчь о его художественныхъ созерцаніяхъ, о томъ, что́ мы называемъ «задумчивостью» генія, онъ обыкновенно рисуетъ картину странствованія. Такъ это—въ VI-й главѣ I-й части «Мертвыхъ Душъ». Вспомнимъ эту чудную страницу, начинающуюся такъ: «Прежде, давно, въ лѣта моей юности, въ лѣта невозвратно мелькнувшаго моего дѣтства, *мнѣ было весело подъѣзжать въ первый разъ къ незнакомому мѣсту...*» [1]). Заканчивается это поэтическое отступленіе такъ: «Теперь равнодушно подъѣзжаю ко всякой незнакомой деревнѣ и равнодушно гляжу на ея пошлую наружность; моему охлажденному взору не пріютно, мнѣ не смѣшно, и то, что пробудило бы въ прежніе годы живое движеніе въ лицѣ, смѣхъ и немолчныя рѣчи, то скользитъ теперь мимо, и безучастное молчаніе хранятъ мои недвижныя уста. О, моя юность! О, моя свѣжесть!»

«Живое движеніе въ лицѣ, смѣхъ и немолчныя рѣчи»— это проблески той геніальности, еще молодой, еще не созрѣвшей, которая въ первыхъ произведеніяхъ Гоголя только угадывается, только подозрѣвается.—«Безучастное молчаніе недвижныхъ устъ» — это какъ бы намекъ на иную

---

[1]) Курсивъ мой.

«задумчивость», на сокровенную работу мысли генія, уже богатаго опытомъ жизни, уже воспитавшагося въ сосредоточенномъ развитіи долгихъ, затаенныхъ думъ, которыя не спѣшатъ проявиться въ «смѣхѣ» и «немолчныхъ рѣчахъ», но которыхъ дѣйствіе такъ ярко скажется въ послѣдующемъ творчествѣ...

Образъ «писателя-путника» былъ однимъ изъ любимыхъ оборотовъ у Гоголя, — и знаменитое лирическое отступленіе о двухъ писателяхъ въ началѣ главы VII-й открывается этимъ сопоставленіямъ: «Счастливъ путникъ, который послѣ длинной, скучной дороги... видитъ, наконецъ, знакомую крышу...».—Противопоставляя «двухъ писателей» и ихъ различный «удѣлъ», онъ такъ заканчиваетъ изображеніе участи поэта пошлыхъ сторонъ жизни: «безъ раздѣленія, безъ отвѣта, безъ участія, *какъ безсемейный путникъ*, останется онъ одинъ посреди дороги...».

Засимъ, обращаясь къ себѣ, онъ говоритъ: «И долго еще опредѣлено мнѣ чудною властью идти объ руку съ моими странными героями, озирать всю громадно-несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный міру смѣхъ и незримыя, невѣдомыя ему слезы! И далеко еще то время, когда инымъ ключомъ грозная вьюга вдохновенія подымется изъ облеченной въ священный ужасъ и въ блистаніе главы, и почуютъ въ смущенномъ трепетѣ величавый громъ другихъ рѣчей...».—Такъ заканчивается знаменитое «лирическое отступленіе», —и, возвращаясь къ прерванному разсказу о похожденіяхъ Чичикова, поэтъ намѣчаетъ этотъ переходъ къ обычному пути своего творчества характернымъ восклицаніемъ: «*Въ дорогу! въ дорогу!* Прочь набѣжавшая на чело морщина и строгій сумракъ лица! Разомъ и вдругъ окунемся въ жизнь со всей ея беззвучной трескотней и бубенчиками и посмотримъ, что дѣлаетъ Чичиковъ».

«Дорога» была однимъ изъ необходимыхъ условій созданія «Мертвыхъ Душъ». Замыселъ, идею, типы, картины великой поэмы Гоголь возилъ съ собою по всей Европѣ.

Начавъ въ Петербургѣ, онъ продолжалъ работу надъ «Мертвыми Душами» въ Швейцаріи, въ Веве, потомъ въ Парижѣ, потомъ въ Римѣ, гдѣ, съ нѣсколькими перерывами для поѣздокъ по Европѣ и въ Россіи, и была окончена въ 1841 году первая часть «поэмы». Можно сказать, «Мертвыя Души» были созданы въ «дорогѣ» и написаны «на бивуакахъ». Это ничуть не мѣшало интенсивному труду разработки, отдѣлки, неоднократнымъ передѣлкамъ, тому сознательному и методическому труду, который, какъ мы указали выше, пропорціоналенъ глубинѣ и достоинству интуитивныхъ идей генія. Краснорѣчивымъ свидѣтельствомъ этого труда являются рукописи Гоголя. Необычайная добросовѣстность и трудолюбіе Гоголя, какъ художника, по нѣскольку разъ передѣлывающаго каждую сцену, критически разбирающаго всѣ детали, вникающаго въ каждую мелочь и подробности, служитъ нагляднымъ мѣриломъ той другой, интуитивной, работы его мысли, которая созидалась преимущественно «въ дорогѣ», когда онъ удалялся отъ непосредственныхъ наблюденій надъ русскою дѣйствительностью и среди мимо бѣгущихъ, не раздражающихъ, не застаивающихся впечатлѣній путника созерцалъ творческимъ воображеніемъ картины русской жизни, вперяя задумчивый взоръ въ ея суть, въ ея характерную складку, въ смыслъ ея явленій, въ психологію русскихъ характеровъ, въ своеобразную поэзію русской природы и жизни. Много, много «родилось» тутъ «чудныхъ замысловъ» и «поэтическихъ грезъ», которые потомъ кристаллизировались въ монументальные типы и художественныя картины «Мертвыхъ Душъ».

«Дорога» и была для Гоголя той *лабораторіей*, гдѣ совершались его *художественные эксперименты.*

Именно какъ художнику-экспериментатору, и необходима была ему «дорога» — *для осуществленія его художественныхъ интуицій.*

Характерная, индивидуальная особенность художественныхъ интуицій Гоголя легко опредѣляется его же соб-

ственными выраженіями: «видный міру смѣхъ и незримыя, невидимыя ему слезы», сквозь которыя онъ «озиралъ» «громадно-несущуюся жизнь». И въ самомъ дѣлѣ: «смѣхъ» —на лицо; онъ входитъ органическимъ звеномъ въ самые образы—Чичикова, Манилова, Собакевича, Ноздрева, Коробочки, Плюшкина, прокурора, Селифана, Петрушки, дамъ, мужиковъ, Тентетникова, генерала Бетрищева, Пѣтуха... Всѣ эти фигуры обращены къ читателю своей смѣшной стороной. А сколько смѣху въ отдѣльныхъ картинахъ и картинкахъ, во вводныхъ лицахъ и сценахъ, въ миніатюрахъ, которыми такъ щедро украшена «поэма», въ повѣсти о капитанѣ Копейкинѣ, въ притчѣ о Кифѣ Мокіевичѣ! Смѣхъ повсюду, съ начала до конца:— «громадно-несущаяся жизнь» развертывается предъ нами —озаренная и объясненная «смѣхомъ».

Но гдѣ же слезы?

Развѣ въ образахъ Чичикова, Манилова, Коробочки, Собакевича, Ноздрева и т. д. и т. д. замѣтны хоть малѣйшіе слѣды «слезъ» художники? Развѣ гдѣ-нибудь въ великой поэмѣ слышится *скорбь* художника-мыслителя? Гдѣ, на какой страницѣ «поэмы», скорбимъ и плачемъ мы вслѣдъ за художникомъ?

Нѣтъ такой страницы,—да и рѣчи не можетъ быть о скорби — по поводу Чичикова, Ноздрева, Коробочки и т. д. «Слезы», пролитыя надъ ними, имѣли бы неожиданнымъ результатомъ—опять-таки смѣхъ, только на сей разъ ужъ не художественный.

Итакъ, въ самомъ дѣлѣ, «смѣхъ» виденъ, а слезы остаются «незримыми, невидимыми міру».

Вотъ именно въ этомъ-то, въ этой незримости, сокровенности слезъ и скорби и заключается характерная особенность геніальнаго чувства Гоголя. Въ «лабораторіи» его художественныхъ экспериментовъ «слезы» испарялись, «скорбь» переходила въ скрытое состояніе, а смѣхъ комическаго писателя перерабатывался изъ обыкновеннаго въ тотъ «высшій восторженный смѣхъ», который «до-

стоинъ стать рядомъ съ высокимъ лирическимъ движеніемъ».

Но присутствіе «незримыхъ слезъ» и скорби въ скрытомъ потенціальномъ состояніи, какъ могучихъ пружинъ творчества, какъ необходимыхъ спутниковъ созерцаній Гоголя, явствуетъ, однако, изъ того, что «много нужно глубины душевной, дабы .озарить картину, взятую изъ презрѣнной жизни, и возвести ее въ перлъ созданія», а эта *глубина душевная*, которой никто, конечно, не станетъ отрицать у Гоголя, должна была, по самому существу дѣла, заключать въ себѣ и «слезы» и «скорбь».

«Скорбь» накоплялась среди «дрязгъ» жизни, осѣдая подъ гнетомъ непосредственныхъ впечатлѣній русской дѣйствительности. Но это отнюдь не была идейная скорбь гражданина, та, которую испытывали Бѣлинскіе и Герцены. Гоголю этотъ родъ скорби былъ чуждъ. Тягостныя душевныя состоянія, которыя онъ испытывалъ, живя въ Россіи, его «незримыя, невѣдомыя міру слезы», были явленіемъ особаго порядка, ничего общаго не имѣвшимъ съ «гражданскою скорбью». С. Т. Аксаковъ очень мѣтко охарактеризовалъ специфическую «скорбь» Гоголя, сказавъ, что, вѣроятно, у него мозгъ и нервы были устроены не такъ, какъ у другихъ, и «содрогались» отъ причинъ, намъ неизвѣстныхъ. Именно такое «содроганіе» и нервовъ, и души я имѣлъ въ виду выше, говоря о той тяготѣ душевной, о той мизантропіи, о томъ своеобразномъ пессимистическомъ и антиобщественномъ настроеніи, которыя представляются обычными признаками психологіи генія. И весьма вѣроятно, что суть дѣла сводится здѣсь въ концѣ концовъ именно къ особому устройству нерво-мозговой системы, реагирующей на впечатлѣнія съ особливою, и притомъ болѣзненною, чуткостью. И «скорбь», которая въ силу этого отлагается въ душѣ есть не идейная скорбь гражданина, а родъ особой *психической боли*—если можно такъ выразиться, родъ «*душевной тошноты*»...

Удалиться тѣмъ или другимъ способомъ или спрятаться отъ воздѣйствій, вызывающихъ душевную боль и «тошноту»,—является у геніевъ глубокою душевною потребностью,—и, какъ извѣстно, всѣ они удаляются или прячутся — кто въ философію, кто въ науку, кто въ искусство...

Для Гоголя лучшимъ способомъ удаленія отъ жизни являлась «дорога»; — она же и была излюбленною «лабораторіею» его творчества.

«Въ дорогѣ» утихала его душевная боль, и тѣ самыя впечатлѣнія, которыя вызывали «боль и тошноту», превращались въ безразличные, безобидные объекты творчества.

Здѣсь пробуждалось и дѣйствовало въ его душѣ то, что выше мы назвали идеею или чувствомъ безконечнаго. Въ искусствѣ оно проявляется не такъ, какъ въ философіи и наукѣ: въ послѣднихъ оно — отвлеченно, оно — понятіе, чистая идея; въ первомъ оно пріурочивается къ конкретнымъ образамъ и картинамъ, но такимъ, которые, будучи *типичными*, т.-е. обобщая неопредѣленное количество («энное» число, сказалъ бы математикъ) явленій жизни человѣческой, открываютъ созерцанію поэта обширныя перспективы, теряющіяся въ дали, куда взоръ уже не проникаетъ. Вотъ Коробочка: это перспектива неопредѣленно — большого ряда *такихъ* натуръ, *такихъ* бытовыхъ образовъ. Ихъ число въ концѣ-концовъ, разумѣется, ограничено, а не безконечно; но его нельзя учесть, его нельзя установить; нельзя указать, гдѣ именно оканчивается этотъ рядъ; ибо образъ, созданный Гоголемъ, такъ широкъ, такъ типиченъ, что объемлетъ не только современныхъ ему, дореформенныхъ Коробочекъ, но и пореформенныхъ, и не только—русскихъ, но и нѣмецкихъ, и французскихъ, и т. д.; онъ простирается и на грядущихъ Коробочекъ, и не только на тѣхъ, которыя въ самомъ дѣлѣ явятся, но и на всѣхъ *воображаемыхъ* Коробочекъ, какихъ только мы можемъ представить себѣ.

Итакъ, рядъ *уходитъ въ безконечность*, не космическую, конечно, а человѣческую, психологическую это — представленіе «неопредѣленно—большого», которое *психологически эквивалентно* идеѣ безконечности, потому что не видать конца этому «неопредѣленно большому». Эта психологическая, человѣческая форма безконечнаго присуща всякому истинно-художественному образу.

Создатель образовъ Чичикова, Манилова, Собакевича, Ноздрева, Плюшкина, Коробочки и др. созерцалъ и чувствовалъ это «безконечное» въ цѣломъ рядѣ бытовыхъ и психологическихъ перспективъ, соотвѣтствующихъ этимъ именамъ.

Получался эффектъ или иллюзія въ родѣ той, какая всегда необходима въ пейзажѣ, въ картинахъ степи, моря: аллея, все суживающаяся и теряющаяся въ дали, море сливающееся съ небомъ, степь, грани которой ускользаютъ отъ взора.

Все человѣческое, психологическое, бытовое, историческое даетъ неисчерпаемый матеріалъ для созданія этихъ перспективъ, которыя мы можемъ назвать «художественными иллюзіями безконечнаго». *Настоящій художникъ это—тотъ, кто созерцаетъ міръ человѣческій въ формахъ этихъ иллюзій.* Иначе говоря: создавая образъ или картину, художникъ созерцаетъ ими неопредѣленно огромный рядъ явленій, кажущійся безконечнымъ.

Весьма разнообразны у различныхъ художниковъ самые способы этого созерцанія, его психологическій характеръ и порядокъ сопутствующихъ чувствъ. Но, думается, можно было бы различать здѣсь два типа художниковъ: одни созерцаютъ, если можно такъ выразиться, *архитектурно*, другіе — *музыкально*. У первыхъ живѣе сказывается, въ ихъ созерцаніяхъ жизни сквозь призму образа, чувство *стройности*, *архитектурности* въ построеніи этого образа, въ его *симметрическомъ* отношеніи къ явленіямъ, которыя въ немъ находятъ свое обобщеніе и истолкованіе.—У вторыхъ живѣе проявляется,

въ тѣхъ же созерцаніяхъ, чувство *движенія*, чувство, къ которому примѣнимы выраженія Гоголя о «дорогѣ»: въ немъ есть что-то *манящее* и *несущее*, какъ есть оно— въ *музыкѣ*. Созерцаніе обобщеннаго въ художественномъ образѣ ряда явленій, кажущагося безконечнымъ, родитъ въ душѣ представленіе и чувство чего-то вѣчно движущагося, каллейдоскопически мѣняющагося, какого-то человѣческаго океана, съ вѣчнымъ прибоемъ волнъ, съ вѣчно—колеблющеюся, разнообразно — искрящеюся поверхностью.

Гоголь безспорно принадлежалъ къ этому, второму, типу художниковъ.

Жизнь, которую онъ созерцалъ сквозь призму своихъ образовъ, представлялась ему «*громадно — несущеюся*» И чувства, которыми сопровождались его творческія созерцанія, могутъ быть охарактеризованы тѣми красками, которыми въ концѣ I-ой части «Мертвыхъ Душъ» изображено пристрастіе «русскаго человѣка» къ «быстрой ѣздѣ». Вспомнимъ: «Ея ли не любить, когда *въ ней слышится что-то восторженно-чудное*? Кажись, невѣдомая сила подхватила тебя на крыло къ себѣ, и самъ летишь, и все летитъ: летятъ версты, летятъ навстрѣчу купцы на облучкахъ своихъ кибитокъ, летитъ съ обѣихъ сторонъ лѣсъ съ темными строями елей и сосенъ, съ топорнымъ стукомъ и вороньимъ крикомъ; летитъ вся дорога невѣсть куда въ пропадающую даль; и что-то страшное заключено въ семъ быстромъ мельканіи, гдѣ не успѣваетъ означиться пропадающій предметъ: только небо надъ головою, да легкія тучи, да продирающійся мѣсяцъ одни кажутся неподвижны. Эхъ, тройка, птица-тройка!..»

Въ этихъ строкахъ лирически сказалось то головокружительное *чувство движенія*, которымъ сопровождалось творчество Гоголя.

Здѣсь дано живое выраженіе тому, что Бѣлинскій называлъ *паѳосомъ* поэта.

Паѳосъ Гоголя—разгулъ воображенія, полетъ поэти-

ческой мысли, удаль художественныхъ замысловъ. И онъ ярко обнаруживается не только въ лирическихъ мѣстахъ, въ родѣ приведеннаго, но и въ самой работѣ художника, въ структурѣ образовъ, въ техникѣ рисунка, гдѣ такъ много движенія, въ быстрой смѣнѣ картинъ, въ быстрыхъ ударахъ кисти, во всѣхъ пріемахъ изображенія, не дающихъ читателю времени опомниться и влекущихъ его все дальше и дальше.

Въ безсмертной «поэмѣ», можно сказать, все движется, все несется и исчезаетъ въ дали, оставляя впечатлѣніе «громадно-несущейся жизни», чему нисколько не мѣшаетъ сознаніе пошлости этой жизни,—жизни Чичиковыхъ, Маниловыхъ, Собакевичей, Коробочекъ...

VI.

Осложненная геніальностью, натура Гоголя, сама по себѣ противорѣчивая и загадочная, являетъ картину особливо-сложной, причудливо-своеобразной душевной жизни.

Можно сказать, его геніальность находилась въ вопіющемъ противорѣчіи съ важнѣйшими, наисильнѣе выраженными сторонами его натуры и особенностями его ума.

И въ самомъ дѣлѣ, геніальный укладъ духа, по самому существу своему, плохо ладитъ съ тѣмъ *крайнимъ эгоцентризмомъ* натуры, какой мы видимъ у Гоголя. Геній всегда стремится, если можно такъ выразиться, выйти изъ предѣловъ своей личности,—онъ живетъ и дышитъ *всеобщимъ*, онъ ищетъ широкихъ горизонтовъ, всеобъемлющихъ созерцаній,—и ему тѣсно и душно въ узкой сферѣ личной душевной жизни, какъ бы его психика ни была глубока и богата содержаніемъ. Быть замкнутымъ въ себѣ, вѣчно носиться со своимъ «я», быть подъ его неусыпнымъ надзоромъ и гнетомъ—эта доля, тяжкая и болѣзнетворная для всякаго человѣка, вдвойнѣ тяжела и мучительна для генія. Гоголь, какъ натура рѣзко-эгоцен-

трическая, и Гоголь, какъ великій геній, это были двѣ души, фатально связанныя между собой и вѣчно-стремившіяся оторваться другъ отъ друга. И великій поэтъ могъ бы съ полнымъ правомъ сказать о себѣ то, что говоритъ Фаустъ у Гете:

Zwei Seelen wohnen, ach!, in meiner Brust,
Die eine will sich von der andern trennen...

Столь же плохо ладила геніальность Гоголя съ его стремленіемъ и его живою потребностью *осуществить свою общественную стоимость*, о чемъ мы подробно говорили въ гл. III-ей. Геніальность съ ея антиобщественнымъ и мизантропическимъ настроеніемъ является весьма серьезнымъ—внутреннимъ—препятствіемъ къ осуществленію общественной стоимости человѣка. Плохой обыватель, недисциплинированный рядовой соціальной жизни, неспособный идти въ ногу съ другими, ненавистникъ стадныхъ чувствъ и общественныхъ шаблоновъ, геній, въ своихъ стремленіяхъ къ осуществленію общественной стоимости, является прирожденнымъ кандидатомъ въ «неудачники». И если онъ все-таки занимаетъ свое мѣсто въ обществѣ, осуществляетъ такъ или иначе свою общественную стоимость, то это происходитъ—несмотря на геніальность, вопреки ей и благодаря либо счастливому случаю, либо какимъ-нибудь спеціальнымъ талантамъ или особымъ качествамъ его ума, которыя оказались нужными и полезными данной общественной средѣ.

Для Гоголя, какъ человѣка съ живыми общественными стремленіями, съ неугасимою жаждой—стать единицею въ своей средѣ, проявить свою личность въ ней, найти удовлетвореніе своему честолюбію,—его геніальность была лишнею обузой, крайне затруднявшею рѣшеніе и безъ того трудной личной задачи.

Наконецъ, коренныя черты *ума* Гоголя находились въ вопіющемъ противорѣчіи съ геніальностью этого ума. Геніальность мысли не уживается съ *темнотою* и *отста-*

лостью ума. Жажда умственнаго свѣта, радость познанія, стремленіе къ внутренней свободѣ, глубокая потребность мысли—стряхнуть старыя оковы, расправить крылья и унестись впередъ, въ неизвѣданную даль новыхъ стремленій, новыхъ дерзновеній ума человѣческаго—вотъ характерныя, бьющія въ глаза черты генія. Онѣ были и у Гоголя, поскольку онъ былъ геній. Но онъ, *какъ умъ*, въ то же время отличался и иными качествами: онъ боялся мысли, онъ отворачивался отъ свѣта, отъ радостей—познанія, онъ былъ *лѣнивъ — учиться* и *совершенствоваться*,—его умъ, огромный, проницательный и тонкій, страдалъ какою-то странною неподвижностью и свѣтобоязнью. Это внутреннее—психологическое—противорѣчіе между указанными особенностями его ума и его геніальностью было причиной того умственнаго разлада съ самимъ собой, который составлялъ одну изъ видныхъ сторонъ сложной душевной драмы и общей неуравновѣшенности этого великаго человѣка. Крылья его генія были подрѣзаны...

Съ однимъ только необыкновеннымъ художественнымъ дарованіемъ Гоголя его геній находился въ полной гармоніи.

Мы рѣшительно отвергаемъ извѣстное воззрѣніе на геніальность, какъ на родъ душевной болѣзни; но мы думаемъ, что, при наличности разлада между геніальностью человѣка и другими сторонами его натуры, геніальность является какъ бы психическимъ бременемъ, иногда неудобоносимымъ, нарушаетъ внутреннее равновѣсіе и служитъ источникомъ особыхъ томленій и мукъ, которыя могутъ вредно отозваться на общемъ душевномъ здоровьѣ человѣка.

Такую именно картину мы и находимъ у Гоголя.

Изученіе душевной исторіи Гоголя съ этой стороны представляетъ для психолога задачу, исполненную высокаго интереса. Мы здѣсь ограничиваемся только ея постановкой.